

ЭДУАРД СЕРОУСОВ

РЕЛИКТОВАЯ
СВЯЗЬ

Эдуард Сероусов
Реликтовая связь

«Автор»

2026

Сероусов Э.

Реликтовая связь / Э. Сероусов — «Автор», 2026

2147 год. Люди засыпают — тысячами, по всему миру, одновременно. Их мозг жив, но сознание уходит туда, откуда не возвращаются. Нейрофизиолог Лина Чэнь изучает аномалию в секретном проекте «Периметр», пока не обнаруживает: это не болезнь. Это ответ — реликтовый сигнал, вплетённый в ткань вселенной со времён Большого взрыва. Три погибшие цивилизации оставили предупреждение. Муж Лины — среди уснувших. Ей предстоит выбрать: спасти человечество, заморозив то, что делает нас людьми, — или позволить каждому решать самому. Роман о границах сознания, цене выбора и музыке, которую слышат не все. Все иллюстрации сгенерированы в программе Ideogram.

© Сероусов Э., 2026

© Автор, 2026

Содержание

Часть I: «Эхо»	5
Глава 1. Линза	6
Глава 2. Спящий	14
Глава 3. Периметр	21
Глава 4. Кристалл	29
Глава 5. Данные	38
Глава 6. Ева	46
Глава 7. Карагандинский инцидент	54
Глава 8. Иммунный	63
Конец ознакомительного фрагмента.	65

Эдуард Сероусов

Реликтовая связь

Часть I: «Эхо»

«Мы – способ, которым космос познаёт себя.» – Карл Саган

Глава 1. Линза

Линза разбудила её в шесть четырнадцать – на минуту раньше будильника, как всегда. Тонкая контактная плёнка на левом глазу мигнула, выбросив строку бледно-голубого текста поверх потолочной панели: «Температура наружная: -3°C . Рекомендация: куртка с термослоем 2. Завтрак: протеиновая каша с черникой (запас обновлён вчера). Индекс качества сна: 64/100. Отклонение от нормы: фаза REM – увеличена на 22%. Рекомендация: консультация сомнолога.»

Лина моргнула, и текст погас. Потом моргнула снова – осознанно, двойным нажатием – и отключила рекомендации до конца утра. Она знала про REM-фазу. Знала лучше любого сомнолога, которого могла бы предложить линза. Сны стали длиннее четыре месяца назад – сразу после первой серии экспериментов с нейроинтерфейсом третьего поколения. Ничего клинически значимого, просто мозг осваивался с новыми паттернами нейронной активности, как мышцы осваиваются с непривычной нагрузкой.

Так она себе говорила.

Ноги коснулись пола – прохладного, приятного. Квартира «Периметра» была стандартной для научного персонала второго уровня: сорок квадратов, терморегуляция, окно с видом на северный склон. Достаточно, чтобы жить. Слишком мало, чтобы жить вдвоём, но эта проблема решилась три года назад сама собой.

На кухонной стойке стояли две кружки. Белая – её. Синяя, с отколотой ручкой и надписью «Cogito ergo dubito» – его. Лина взяла синюю, не задумываясь, привычным жестом, как берут зубную щётку. Насыпала молотый кофе в турку. Настоящий кофе – колумбийский, выращенный на орбитальной ферме «Лагранж-2», доставленный челноком прошлого четверга. Роскошь. Пятьдесят граммов в неделю – привилегия сотрудников Консорциума, одна из немногих, которые она ценила. Линза могла бы приготовить синтетический аналог за тридцать секунд – точная реплика вкуса, аромата, даже зернистости на языке. Но Лина варила настоящий. Алекс всегда говорил, что разница между оригиналом и копией – не во вкусе, а в том, что оригинал когда-то был живым.

Она подумала об этом и сразу перестала думать. Налила кофе. Сделала глоток. Обожгла язык.

Хорошо.

За окном Женева-Высокая просыпалась в предрассветных сумерках. Город, рождённый катастрофой, выглядел так, будто стоял здесь всегда – терморегулируемые фасады, покрытые тонким слоем инея, взбирались по альпийскому склону ярусами, соединённые крытыми переходами и грузовыми пандусами. Старую Женеву затопило в 2094-м, когда Рона вышла из берегов в последний раз. Теперь там было озеро – мутное, химически нестабильное, огороженное бетонными волноломами. Иногда по выходным семьи приходили на смотровую площадку и показывали детям верхушки затопленных зданий, торчащие из воды, как надгробия. Дети сучали. Для них это было просто озеро.

Лина допила кофе, вымыла синюю кружку, поставила на место. Одевалась. Куртка с термослоем – не вторым, как рекомендовала линза, а третьим: она всегда мёрзла больше, чем предсказывал алгоритм. Алекс шутил, что она теплокровная только в лаборатории.

Она вышла из дома в шесть сорок одну, и город принял её, как принимает всех – равнодушно, функционально, на бегу.

Транспортная капсула скользнула к платформе через двенадцать секунд после того, как Лина ступила на жёлтую линию ожидания. Координатор «Хильда» – распределённый ИИ, обслуживающий Женева-Высокую, – отслеживал перемещения двенадцати тысяч жителей с точностью, которую ни один диспетчер-человек не смог бы воспроизвести. Капсула пахла дез-

инфектором и нагретым пластиком. Попутчики: мужчина в форме технической службы, листающий новостную ленту на линзе (его глаза метались, как у читающего во сне), и девочка лет десяти в школьной куртке, разговаривающая с голограммой учителя, висевшей над её ладонью. Голограмма – пожилой мужчина с терпеливым лицом – объясняла что-то про фотосинтез в условиях орбитальной гидропоники. Девочка ковыряла заусенец и изредка кивала.

Лина смотрела в окно. Город скользил мимо: ярусы, террасы, зелёные стены вертикальных ферм – тёмные сейчас, в шесть утра, за исключением нижних секций, где фитолампы горели фиолетовым. Дроны – техобслуживание, доставка, мониторинг – перемещались на высоте двадцати метров координированными роями, бесшумные и бесцельные с виду, как мошकारа в летний вечер. Всё работало. Всё было на месте. Мир не выглядел так, будто медленно сходит с ума.

На информационной панели капсулы мелькнул заголовок: «Джакарта-Верхняя: 42 человека одновременно потеряли сознание на фестивале электронной музыки. Аномалия Танаки подтверждена. Общее число – 217 400.»

Мужчина в форме технической службы поднял глаза от линзы, посмотрел на заголовок, вернулся к чтению. Девочка не заметила. Голограмма учителя продолжала говорить о хлорофилле.

Двести семнадцать тысяч четыреста. Когда Лина пришла в «Периметр» три года назад, цифра была девяносто одна тысяча. Тогда она казалась огромной.

Капсула остановилась на пересадочной. Лина вышла, пересекла крытый переход между ярусами – здесь ветер всё-таки пробирался сквозь термошиты, и она порадовалась третьему термослою. Внизу, тремя ярусами ниже пешеходной эстакады, стояло здание, которое раньше было отелем. Шестьсот номеров, некогда – с видом на горы. Теперь – «Хоспис Альпийский». Лина проходила здесь каждое утро. Каждое утро старалась не смотреть. Каждое утро смотрела.

Фасад – бежевый, безликий, с вертикальными рядами окон, за которыми ничего не двигалось. Ни штор, ни теней, ни мерцания экранов. Шестьсот комнат, в каждой – кровать, капельница, набор датчиков, система жизнеобеспечения. ИИ-координатор «Хильда» управлял всем: температурой тел, кормлением через назогастральные зонды, профилактикой пролежней, заменой катетеров. Медсёстры приходили дважды в день – проверить то, что «Хильда» не могла: выражение лиц, положение рук, какое-то неуловимо человеческое, чему не было параметра в протоколе ухода. Медсёстры менялись каждые три месяца. Текучка кадров – стопроцентная. Не от усталости.

У входа стояла женщина с ребёнком. Мальчик лет пяти, в красной куртке, держал мать за рукав и переминался с ноги на ногу. Женщина смотрела на фасад – не на дверь, а выше, на окна, словно пыталась угадать, какое из шестисот окон – нужное. В её левом глазу тускло мерцала линза – она говорила с «Хильдой».

– Можно навестить мужа? – спросила она.

– Посещения с десяти ноль-ноль до четырнадцати ноль-ноль, – ответила «Хильда» ровным контральто, и Лина услышала этот голос через собственную линзу – обрывок чужого разговора, случайный перехват на общей частоте. – Рекомендую принести личные вещи. Исследования показывают, что знакомые запахи могут стимулировать...

Женщина свернула голосовой канал движением век. Не дослушала.

– Мама, – сказал мальчик, – папа ещё спит?

Лина ускорила шаг. Эстакада увела её вверх и вправо, мимо термозащитной стены, мимо рекламного экрана («ИИ-нянь для вашего спящего: гуманный уход, полная автоматизация, первый месяц бесплатно»), мимо граффити под экраном – чёрная краска, неровные буквы: «Кто позаботится о последнем проснувшемся?»

Она знала, что «ещё» – слово, у которого здесь нет антонима.

Лаборатория нейрофизиологии «Периметра» располагалась на девятом ярусе – достаточно высоко, чтобы окна выходили на линию горизонта, а не на стену соседнего здания. Лине нравился этот горизонт: скалистый, резкий, без полутонов. Горы не притворялись. Горы просто были.

Ибрагим уже сидел за своим терминалом, и по тому, как его пальцы лежали на клавиатуре – неподвижно, только большой палец правой руки чуть постукивал по пробелу, – Лина поняла, что он злится. Ибрагим Хасан злился тихо, как злятся люди, привыкшие к тому, что мир несправедлив: без надежды на исправление, но с потребностью это зафиксировать.

– Сорок два, – сказал он, не оборачиваясь. – Джакарта.

– Видела.

– На фестивале электронной музыки. Бас-частоты, строботехника, двести децибел. Идеальный триггер для когерентных состояний, если верить модели Аоки. Я не верю модели Аоки, но сорок два одновременных случая – это... – Он замолчал, подбирая слово. – Статистически неприличная цифра.

– Модель Аоки предсказывала до пятнадцати при таких параметрах.

– Именно. Либо модель неправильная, либо фоновый резонанс растёт быстрее, чем мы думали. – Он повернулся наконец, и Лина увидела его лицо – тёмные круги под глазами, щетина суточной давности. Он не спал. Снова. – Я пересчитал экспоненту с поправкой на последний квартал. Если Джакарта – не аномалия, а точка на кривой, то...

– Не надо. – Лина подняла руку. – Не с утра.

Ибрагим посмотрел на неё – секунду, две – и кивнул. Вернулся к экрану. Его большой палец перестал стучать.

Мин Со-Ён пришла в семь пятнадцать, как всегда – минута в минуту, будто её внутренние часы были откалиброваны точнее линзы. Маленькая, острая, с коротко стриженными волосами и руками, которые никогда не были в покое: поправить прибор, пролистнуть данные, заправить прядь за ухо, снова поправить прибор. Она кивнула Лине – коротко, без улыбки, как кивают коллеге, которого видишь каждый день и к которому не испытываешь ничего, кроме профессионального уважения.

Лина знала, что это неправда. Мин испытывала многое. Просто держала это за скулами, как воду за плотиной.

– Нового поступление, – сказала Мин, перебрасывая на общий экран карточку пациента. – Мужчина, двадцать восемь лет, инженер-программист, компания «Сириус Кибернетикс», Женева-Высокая. Потеря сознания вчера в девятнадцать тридцать на рабочем месте. Паттерны – стандартные. Синхронизация с глобальной когортой – девяносто семь и четыре десятых процента.

Стандартные. Ещё одно слово, которое в «Периметре» утратило первоначальный смысл. Стандартная потеря сознания. Стандартная кататония. Стандартное совпадение мозговых паттернов у людей на пяти континентах, никогда не встречавших друг друга. Стандартный конец чьей-то жизни.

Виктор Орлов появился последним – в семь тридцать пять, молча, как появлялся всегда: открыл дверь, вошёл, сел за свой стол в углу, начал проверять оборудование. Большой, неторопливый, с лицом человека, которому не нужно улыбаться, чтобы выразить расположение, – достаточно того, что он пришёл. Его руки – широкие, с мозолями от ручного инструмента – обращались с тонкими нейроинтерфейсами с деликатностью, которая всегда удивляла Лину. Бывший военный инженер. Она как-то спросила, зачем он перешёл в науку. Он ответил: «Устал чинить то, что ломается. Захотел понять то, что не понимаю.» Потом добавил: «Не понимаю до сих пор. Но хотя бы перестал чинить.»

Виктор один из всей команды мог работать рядом с любым нейроинтерфейсом, любой эхо-камерой, любым источником когерентного излучения – без малейшего риска. Его мозг не формировал узлов. Иммунитет. Камертон, настроенный на 439 герц в мире, где оркестр играет на четырёхстах сорока.

– Оборудование к девяти будет готово, – сказал он, обращаясь к пространству между Линой и стеной. – Третья версия интерфейса. Чувствительность повысил на четырнадцать процентов. Калибровку закончу через час.

– Спасибо, Виктор.

Он кивнул. Лина подумала, что за три года работы бок о бок ни разу не видела, чтобы Виктор нервничал. Не потому что он был бесстрашным – а потому что его страх, если и существовал, находился в диапазоне частот, недоступном для внешнего наблюдателя.

Пациент лежал в изоляторе – стеклянная комната в глубине лаборатории, термостабилизированная, экранированная метаматериалом по всем шести плоскостям. Молодой мужчина: худое лицо, светлые волосы, руки вдоль тела – аккуратно, как у человека, лёгшего вздремнуть и забывшего проснуться. Глаза открыты. Зрачки расширены. Он не моргал. Не нужно было – роговица увлажнялась капельным аппаратом, закреплённым на переносице.

Мониторы показывали: пульс – шестьдесят два, стабильный. Дыхание – четырнадцать в минуту, ровное. Электроэнцефалограмма – характерный паттерн аномалии Танаки: все области коры синхронизированы в низкочастотном ритме, которого не бывает у здорового мозга. Четыре герца. Тета-диапазон, но не тета-ритм – что-то иное, не описанное ни в одном учебнике до 2141 года. Этот ритм пульсировал одновременно в мозгах двухсот семнадцати тысяч четырёхсот человек по всей планете, с точностью синхронизации до миллисекунды. Как будто один дирижёр управлял оркестром, рассаженым по пяти континентам.

Лина стояла перед стеклом и смотрела на него – на Дэвида Кирби, двадцати восьми лет, инженера-программиста, который вчера в семь тридцать вечера отложил ложку, не доев ужин, закрыл глаза и ушёл.

– Нейроинтерфейс готов, – сказал Виктор из-за её плеча.

Она обернулась. Третья версия экспериментального интерфейса лежала на металлическом столе: тонкий венчик из гибкого полимера с шестьюдесятью четырьмя электродами – на вид безобидный, как медицинский обруч. Но за безобидным видом скрывалась чувствительность, способная регистрировать квантовые флуктуации в тубулиновых белках нейронного цитоскелета. Микротрубочки – элементы внутреннего скелета каждого нейрона – были, по гипотезе Линого отдела, тем самым «оборудованием», которое при определённых условиях превращало человеческий мозг в узел когерентности. Окном в нечто, у чего пока не было общепринятого названия.

– Я подниму чувствительность до максимума, – сказала Лина. – Хочу посмотреть, есть ли градиент резонанса вблизи активного пациента.

Ибрагим поднял голову.

– Ты хочешь использовать интерфейс рядом с ним?

– На расстоянии полутора метров. За экраном.

– Лина, мы не знаем, как экран ведёт себя при направленном резонансе с третьей версией. Калибровочные данные основаны на модели, а модель...

– Модель – лучшее, что у нас есть. – Она посмотрела на него. – Если мы будем ждать идеальных условий, то к моменту, когда они наступят, некому будет проводить эксперимент.

Ибрагим сжал челюсти. Его большой палец снова начал стучать по пробелу.

– Запротоколируй всё. И если фон начнёт расти выше порога – снимаешь интерфейс немедленно.

– Само собой.

Она вошла в изолятор. Стекло закрылось за ней с мягким щелчком герметичного уплотнителя. Воздух внутри был другим – суше, прохладнее, с тонким привкусом метаматериала, похожим на запах озона. Дэвид Кирби лежал в метре от неё. Его грудь поднималась и опускалась. Глаза – открытые, пустые – смотрели в потолок.

Лина надела интерфейс. Шестьдесят четыре электрода прижались к коже – прохладные, почти незаметные. Виктор снаружи включил питание. На мониторе побежали данные: её собственная нейроактивность – нормальная, альфа-ритм, фоновый шум.

Она увеличила чувствительность. Стрелка на шкале поползла вверх: двадцать процентов, сорок, шестьдесят. Данные на экране уплотнились. Ибрагим следил за вторым монитором – его губы беззвучно шевелились, считая.

Восемьдесят процентов.

Фон оставался ровным. Ничего.

Девяносто.

Лина посмотрела на Дэвида Кирби. Его лицо не изменилось. Его ритм – четыре герца – пульсировал на экране монитора, как пульс огромного, спокойного сердца. Она была в полутора метрах от человека, чей мозг транслировал сигнал, синхронный с двумястами тысячами других мозгов. Стекло экрана между ними казалось достаточной защитой. Так и было. По протоколу.

Сто процентов.

И на долю секунды – меньше, чем удар сердца – мир сместился.

Потолок изолятора исчез. Нет – не исчез: остался, но стал прозрачным, как мокрое стекло, и сквозь него пролилось небо, которого не могло быть. Лиловое, с оттенком индиго у горизонта, пронизанное светом трёх солнц – два белых, одно красное, низкое, повисшее у самого края равнины. Равнина – оранжевая, бескрайняя, ровная, словно кто-то разгладил целый континент ладонью. Ни деревьев, ни зданий, ни тени – только свет, мягкий и густой, как мёд, и цвет, который Лина не могла назвать, потому что его не существовало в спектре, доступном человеческому глазу. Она видела его тем же органом, которым видела сны, – но это не было сном. Слишком чётко. Слишком конкретно. Каждая песчинка оранжевой поверхности существовала отдельно и одновременно – как пиксели на экране с бесконечным разрешением.

Песня. Не мелодия – вибрация, заполнившая пространство между костями черепа. Без слов, без ритма, без направления – но с присутствием, настолько плотным, что Лина ощутила его как физическое давление в области грудины. Миллионы голосов. Нет – не голосов: сознаний. Намерений. Каждое – отдельное, каждое – часть целого, как волны в океане, где каждая волна уникальна, но все они – вода.

И среди этого – боль.

Не человеческая боль – что-то другое, огромное и медленное, как движение тектонических плит. Умиряющее сознание, чужое, нечеловеческое, древнее – настолько древнее, что само понятие возраста к нему не применялось. Оно не кричало. Не просило о помощи. Оно гасло – как звезда, миллиарды лет светившая в пустоту, наконец позволяющая себе погаснуть. Лина почувствовала его усталость, и это было как удар под рёбра, потому что усталость была невыразимой, не вмещающейся в человеческий масштаб, и всё же – Лина вместила. На долю секунды стала сосудом, который наполнили до краёв, и содержимое было тяжелее всего, что она когда-либо чувствовала.

Три солнца.

Оранжевая равнина.

Песня без слов.

Умиряющий гигант.

Потом – руки Ибрагима, грубые, сильные, сдёрнувшие интерфейс с её головы. Запах озона. Белый свет изолятора. Потолок – непрозрачный, обычный, с вентиляционной решёткой в углу.

Лина стояла на коленях. Она не помнила, как упала. Её сердце колотилось так, что она чувствовала пульс в кончиках пальцев, в горле, в глазных яблоках.

Ибрагим держал её за плечи. Его лицо – близко, очень близко – было серым.

– Двадцать три секунды, – сказал он. – Ты не реагировала двадцать три секунды. Паттерны – синхронизация с пациентом на восемьдесят один процент. Ещё три секунды и ты бы...

– Я знаю.

– Ты была на грани, Лина. На грани. Совпадение паттернов с его ритмом, но не только с его – там был ещё один сигнал, глубже, которого мы раньше не видели, и если бы я не...

– Я знаю.

Она встала. Ноги держали – неуверенно, как после долгой болезни, но держали. За стеклом изолятора Мин замерла с планшетом в руках. Виктор стоял у пульта, одна рука на переключателе аварийного отключения – он успел, но не потребовалось: Ибрагим оказался быстрее. Мин что-то записывала – автоматически, не глядя на планшет, и её губы были сжаты в линию, тонкую и твёрдую, как трещина в стекле.

Лина посмотрела на Дэвида Кирби. Он лежал так же. Открытые глаза. Ровное дыхание. Четыре герца. Ничего не изменилось. Для него – ничего. Для неё – всё.

– Данные, – сказала она, и собственный голос показался ей чужим – слишком ровным, слишком контролируемым, как будто говорила не она, а запись. – Мне нужны данные. Полная развёртка за последние двадцать три секунды. Мои паттерны, его паттерны, корреляция по всем каналам.

– Лина...

– Ибрагим. Данные.

Он смотрел на неё. Его рука всё ещё лежала на её плече. Потом он убрал руку и кивнул.

Мин подошла. Протянула стакан воды. Лина взяла, но не выпила – держала обеими руками, потому что одной тряслась бы.

– Что ты видела? – спросила Мин.

Лина посмотрела на стакан. Вода подрагивала – мелкой, быстрой рябью, как поверхность озера перед землетрясением. Не из-за рук. Её руки были неподвижны. Дрожала она – изнутри, из того места, где двадцать три секунды назад поместилось нечто, для чего не было слов.

– Равнину, – сказала Лина. – Оранжевую. Небо с тремя солнцами. И... присутствие. Много. Очень много. – Она сделала паузу. Вода в стакане успокоилась. – И ещё – что-то большое. Умирающее. Древнее. Нечеловеческое. Это... чувствовало. Или я чувствовала его. Не знаю.

Ибрагим уже сидел за терминалом, разворачивая массив данных. Его пальцы бегали по клавиатуре с яростью человека, который решает уравнение, потому что альтернатива – думать о том, чего не хочет.

– Зеркальные нейроны, – сказал он, не оборачиваясь. – Эмпатическая проекция. Твой мозг вошёл в состояние кратковременной когеренции рядом с активным источником и интерпретировал входящий сигнал через единственный доступный ему фреймворк – субъективный опыт. Ты не «чувствовала чужую боль». Ты наложила собственную модель эмпатии на нелокальную корреляцию квантовых состояний и...

– Ибрагим.

Он остановился.

– Резонанс не болит, – сказала Лина. – Физический резонанс – не болит. Корреляция – не болит. То, что я ощутила, – болело.

Тишина. Гудение приборов. За окном лаборатории – Женева-Высокая, девятый ярус, линия горизонта, горы, которые не притворялись.

Ибрагим повернулся к ней. Его лицо было лицом человека, который знает шестнадцать способов объяснить необъяснимое и не верит ни одному.

– Мы обсудим это, когда я обработаю данные, – произнёс он наконец. – Не раньше.

– Хорошо.

Виктор подошёл. Забрал нейроинтерфейс с металлического стола. Осмотрел – электрод за электродом, точным, неторопливым движением. Потом посмотрел на Лину – спокойно, без вопроса в глазах, но с чем-то другим: вниманием человека, который стоит на берегу и смотрит, как кто-то плывёт в сторону открытого моря.

– Оборудование в порядке, – сказал он. – Ничего не повреждено.

Он имел в виду интерфейс. Но Лина услышала вопрос, которого он не задал.

Мин убрала планшет. Прошла мимо изолятора, мимо Дэвида Кирби с его открытыми глазами и ровным дыханием. Остановилась на секунду. Поправила ему руку – правую, которая чуть сползла к краю кровати. Профессионально, без нежности. И пошла дальше.

Лина знала: Мин поправляла руки всем спящим. Каждому. Каждый раз. Одним и тем же жестом. Она никогда не спрашивала почему. Знала и без вопроса: где-то далеко, в Пусане, в хосписе поменьше Альпийского, лежал девятнадцатилетний юноша, который заснул на лекции по молекулярной биологии, не дослушав предложения. И у него, наверное, тоже сползала рука.

Лина вышла из изолятора. Сняла лабораторный халат. Подошла к окну. Горы стояли на месте – ледяные, безразличные, настоящие. Под ними – Женева-Высокая, ярусы, терморегуляция, двенадцать тысяч жителей, и среди них – шестьсот, которые больше не были жителями в привычном смысле, но чьи тела по-прежнему занимали комнаты, потребляли ресурсы, требовали ухода.

Оранжевая равнина стояла перед глазами, как остаточное изображение после взгляда на солнце. Лиловое небо. Три звезды. Песня без слов. И та боль – чужая, нечеловеческая, необъятная – ныла в груди, как тупая игла, и Лина не знала, её ли это боль или она просто забыла вернуть чужую.

– Там не только красиво, – сказала она. Тихо. Никому. Окну. Горам. – Там и больно тоже.

Горы не ответили.

Но что-то в глубине её – за грудиной, за черепной коробкой, за пределами того, что нейроинтерфейс третьего поколения мог зарегистрировать, – что-то отозвалось.



Глава 2. Спящий

Данные не сходились. Точнее – сходились слишком хорошо, и это было хуже.

Лина сидела перед терминалом уже четвёртый час, разворачивая массивы записей с утреннего контакта слой за слоем. Остальные ушли обедать – все, кроме Ибрагима, который обедал за терминалом, как обедал каждый день: пресный протеиновый батончик, который он разламывал на четыре равные части и съедал с интервалом в двадцать минут, не отрывая глаз от экрана. Его метод. Его ритуал. Лина подозревала, что если бы батончик нельзя было разломить на четыре, Ибрагим бы нашёл другой.

На экране перед ней – двадцать три секунды, растянутые в бесконечность. Её нейронные паттерны: альфа-ритм, плавный, нормальный – затем разрыв, как трещина в стекле, и ступень вниз, в тета-диапазон, к четырём герцам. Совпадение с паттерном Дэвида Кирби – восемьдесят один процент. Но Кирби лежал в аномалии неделю. Его мозг перестроился, нашёл устойчивое состояние, встроился в ритм, который пульсировал по всей планете. Лина же вошла и вышла за двадцать три секунды, и тем не менее – корреляция была такой, словно они слушали одну и ту же станцию.

Совпадение с Кирби было понятным. Проксимальный резонанс – два мозга в полутора метрах друг от друга, один из которых активно транслирует когерентный сигнал. Индукция. Физика. Ибрагим бы одобрил.

Но под паттерном Кирби был второй слой. Глубже. Медленнее. Не четыре герца – ноль целых семь десятых. Почти за пределами разрешения интерфейса. И этот слой не принадлежал Кирби. Его не было ни в одной записи аномалии Танаки за все три года наблюдений. Что-то новое. Или – что-то старое, настолько старое, что прежние приборы не могли его уловить, а третья версия интерфейса с повышенной чувствительностью – смогла.

Лина перенастроила параметры фильтрации и запустила поиск корреляций по глобальной базе. Ждала. Терминал работал молча – ни полосок загрузки, ни вращающихся иконок; просто зелёная точка в углу экрана, пульсирующая в такт обработке. Она смотрела на эту точку и думала о том, что оранжевая равнина с тремя солнцами вела себя не как галлюцинация. Галлюцинации подчиняются архитектуре мозга: используют знакомые образы, рекомбинируют виденное, подстраиваются под ожидания. То, что она видела, не подстраивалось. Оно существовало вне её категорий, как предмет, для которого в языке нет слова, и мозгу пришлось строить новые нейронные каскады прямо в реальном времени, чтобы хотя бы приблизительно передать увиденное в сознание.

Это была не галлюцинация. Это было восприятие чего-то реального, для чего у неё не хватало перцептивного аппарата.

– Ибрагим, – сказала она, не оборачиваясь.

– М-м.

– Я хочу попробовать воспроизвести контакт.

Пауза. Хруст батончика – он как раз дошёл до третьей четверти.

– Каким образом?

– Нейроинтерфейс. Максимальная чувствительность. Но без пациента. Здесь, в лаборатории, за экраном. Хочу проверить, может ли мой мозг сам войти в когерентное состояние, без внешнего триггера.

Ибрагим повернулся. Его лицо выражало ту специфическую форму терпения, которую он приберегал для моментов, когда считал собеседника умным, но неправым.

– Не получится.

– Почему?

– Потому что ты не получишь резонанс без узла. Ближайший неэкранированный – в Карпатах. Шестьсот километров.

– Мой мозг был узлом. Четыре часа назад.

– Твой мозг вошёл в состояние когеренции спонтанно. Под воздействием проксимального источника – активного пациента в полутора метрах. Это не то же самое, что быть узлом. – Он снял очки, протёр о рукав халата, надел обратно. Жест, который Лина видела четыре-пять раз в день и который означал: сейчас будет аналогия. – Разница – как между молнией и электростанцией. Молния – спонтанный разряд, мощный, неконтролируемый, разовый. Электростанция – стабильный, постоянный выход энергии. Твой мозг дал молнию. Чтобы стать электростанцией, нужны другие условия: кристаллическая решётка с определённой геометрией, резонансная камера, стабильный источник топологической когеренции. Или – обратная связь от массива других узлов. Ты одна, без всего этого, в экранированной лаборатории, – он развёл руками, – просто человек с чувствительным прибором на голове.

Лина знала, что он прав. Но надела интерфейс, вывела чувствительность на максимум и просидела сорок минут, глядя на стену и пытаясь нащупать то, что чувствовала утром.

Ничего. Ровный шум нейронной активности. Нормальный мозг нормального человека. Ни оранжевого, ни лилового, ни трёх солнц. Ни песни. Ни боли. Тишина – обыкновенная, не та, которой боятся, а та, от которой скучно.

Она сняла интерфейс. Ибрагим не сказал «я же говорил» – его стиль предполагал более элегантные формы торжества. Он просто продолжил работать, но его большой палец перестал стучать по пробелу, что означало: настроение улучшилось.

– Мне нужен узел, – сказала Лина. Себе, не ему.

– Тебе нужны данные, – ответил Ибрагим. – Узел – это средство. Данные – цель. Не путай. Она хотела возразить. Не стала. Вместо этого встала и пошла в изолятор.

Дэвид Кирби лежал так же, как утром. Так же, как будет лежать завтра, и через неделю, и через год, если ничего не изменится. Открытые глаза. Расширенные зрачки. Капельный увлажнитель на переносице. Назогастральный зонд. Датчики – на висках, на запястьях, на груди. Мониторы – пульс, дыхание, температура, ЭЭГ. Всё ровно. Всё стабильно. Идеальный пациент, если бы идеальность не означала полное отсутствие того, кто делал его человеком.

Лина подошла ближе. Утром, в спешке контакта, она не рассмотрела его по-настоящему – как врач, как исследователь, как человек, смотрящий на другого человека. Теперь рассмотрела.

Пролежни. На локтях – покраснение, переходящее в повреждение кожи. Неделя. Он лежал здесь одну неделю, и его тело уже начало сдаваться. Не потому что за ним плохо ухаживали – протокол «Хильды» был безупречен: повороты каждые два часа, антисептическая обработка, противопролежневый матрас. Но тело, лишённое воли, деградировало быстрее, чем любой протокол мог компенсировать. Мышцы – уже чуть тоньше, чем были неделю назад: без нейронных импульсов волокна начинали атрофироваться в первые семьдесят два часа. Ногти продолжали расти. Волосы – тоже. Борода – недельная, светлая, неравномерная. Щетина живого тела, в котором не осталось хозяина.

Автопилот без пилота. Сердце бьётся, лёгкие дышат, желудок переваривает питательную смесь, поступающую через зонд. Клетки делятся. Иммунная система работает. Где-то в толстом кишечнике бактерии перерабатывают остатки вчерашнего кормления, не зная и не нуждаясь в знании о том, что их хозяин смотрит в потолок глазами, за которыми – пустота. Или не пустота. В этом и заключалась проблема.

Лина проверила записи ЭЭГ за последние двадцать четыре часа. Четыре герца – неизменно, монотонно, как сердцебиение чего-то огромного. Корреляция с глобальной когортой: девяносто семь и четыре десятых процента. Значение не менялось уже три года – с тех пор,

как Юки Танака впервые описала его и дала ему имя: аномалия Танаки, синдром когерентной кататонии. Юки была нейроинженером, не клиницистом, и её описание больше походило на технический протокол, чем на медицинскую статью: «Субъекты демонстрируют спонтанную и устойчивую синхронизацию нейронных осцилляций в тета-диапазоне, не обусловленную известными эпилептическими или метаболическими механизмами. Синхронизация является глобальной: субъекты на разных континентах показывают идентичные паттерны с корреляцией >97%, что исключает случайное совпадение с достоверностью $p < 10^{-3000}$.»

Р меньше десяти в минус трёхтысячной степени. Число, за которым больше нулей, чем атомов в наблюдаемой вселенной. Совпадение – не случайное. Это не обсуждалось. Обсуждалось другое: что именно синхронизирует двести тысяч мозгов с точностью швейцарского часового механизма, и почему это «что-то» становится сильнее с каждым месяцем.

Дверь изолятора скользнула в сторону. Мин вошла – бесшумно, как входила всегда, будто между ней и полом был дополнительный слой воздуха. Планшет в одной руке, сканер в другой. Она начала стандартную процедуру: замер витальных показателей, проверка кожных покровов, калибровка датчиков. Всё – на автомате, с отточенной эффективностью человека, который проделывал это сотни раз.

Лина наблюдала. Не за процедурой – за Мин.

Мин закончила с датчиками. Занесла данные в планшет. Положила сканер на столик рядом с кроватью. Посмотрела на Кирби – быстро, профессионально, без задержки. Потом наклонилась и поправила ему правую руку – ту, которая снова сползла к краю, потому что мышцы не держали тонус, а противопролежневый матрас слегка наклонялся влево. Поправила – точным, коротким движением, как поправляют книгу на полке. Без нежности. Без колебания.

И, уже выпрямившись, думая, что Лина смотрит в монитор, – прошептала что-то. Одно слово. Два слога. Корейское имя, которое Лина слышала раньше, в документах: Джун-хо. Со-Ён Джун-хо, девятнадцать лет, студент Пусанского технологического университета, потерял сознание на лекции по молекулярной биологии четырнадцатого октября 2144 года в тринадцать часов двадцать семь минут. Не дослушав предложения о конформационных изменениях в третичной структуре белка.

Мин не заметила, что Лина слышала. Или заметила, но не подала виду. Она подобрала планшет и вышла из изолятора, не оглянувшись, и её спина была прямой, как рейка, на которой сушат бельё: негнущаяся, функциональная, несущая вес.

Лина осталась одна с Дэвидом Кирби. Посмотрела на его руку – ту, которую Мин поправила. Пальцы – расслабленные, чуть согнутые, с чистыми ногтями и обручальным кольцом на безымянном. Кольцо. У него была жена. Или муж. Кто-то, кто ждал его дома в тот вечер, когда он не пришёл. Кто-то, кто, может быть, теперь приходил в хоспис каждый день и приносил личные вещи, как рекомендовала «Хильда», потому что «знакомые запахи могут стимулировать» – что? Что именно могли стимулировать знакомые запахи в мозгу, который транслировал сигнал на частоте четыре герца, синхронный с двумястами тысячами других мозгов по всей планете?

Ничего. Абсолютно ничего. Но рекомендация оставалась в протоколе, потому что никто не решался её убрать. Потому что убрать рекомендацию означало признать: мы не знаем, как помочь, и, возможно, помочь нельзя.

Вечер пришёл, как приходил каждый вечер в Женеве-Высокой, – быстро, без полутонов. Солнце упало за хребет, тени залили ярусы, и фонари включились одновременно, по команде «Хильды», превратив город в карту созвездий на склоне горы.

Лина сидела на кухонном стуле, скинув ботинки, поджав ноги. Синяя кружка стояла на столе – пустая, но Лина держала её в руках, потому что керамика хранила тепло дольше, чем следовало ожидать от посуды, и это тепло было привычным, как голос.

Из динамиков – плейлист Алекса. Он составлял свои списки так, как писал философские эссе: не по хронологии, не по жанру, а по внутренней логике, которую понимал только он. Дебюсси перетекал в Radiohead, Radiohead – в монгольское горловое пение, горловое пение – в тишину длиной двадцать секунд, а тишина – в Шостаковича. «Это не хаос, – объяснял он, когда Лина спрашивала. – Это разговор. Просто ты пока не слышишь, о чём.»

Она слышала его голос так ясно, словно он стоял за спиной. Это не было связью – это была память, обыкновенная, человеческая, жестокая в своей детализации. Интонация. Манера чуть откидывать голову, когда произносил что-то, во что верил. Привычка делать паузу перед последним словом фразы – не для драматизма, а потому что выбирал точнее.

– Ты там, Алекс? – спросила Лина. Тихо. Кружку. Стену. Тишину между Шостаковичем и следующим треком.

Тишина длилась свои двадцать секунд и не ответила.

– Или я разговариваю с чашкой?

Она улыбнулась. Криво, одной стороной рта – гримаса, которую посторонний принял бы за боль, но которая была чем-то другим. Привычкой. Формой соседства с отсутствием, которая за три года стала частью быта, как утренний кофе и линза с рекомендациями.

Шостакович закончился. Следующий трек – ничего. Тишина. Но не двадцать секунд – дольше. Лина посмотрела на экран: плейлист кончился. Последний трек – тишина без номера и без названия. Алекс добавил его за день до ухода. Она знала, потому что проверяла метаданные. Двенадцатого марта 2144 года, двадцать три часа сорок одна минута. Пустой аудиофайл длиной четыре минуты тридцать три секунды. 4'33". Кейдж. Конечно.

Она закрыла глаза и увидела его – не в связи, не в оранжевом свете трёх солнц, а здесь, на этой кухне, год назад, неделю до конца. Он стоял у окна, держал точно такую же кружку – свою, синюю, с «Cogito ergo dubito» – и говорил что-то, что она тогда не хотела слушать, а теперь не могла забыть.

Они спорили. Не ссорились – спорили, что у них было формой близости, как у других – объятия или молчание вдвоём. Алекс писал новую главу для книги – «Иллюзия бессмертия», его третья, самая спорная. Глава называлась «Сознание как артефакт», и в ней он доказывал, что субъективный опыт – побочный эффект нейронной архитектуры, эпифеномен, который не более реален, чем тень, отброшенная на стену.

– Если сознание – тень, – сказала Лина тогда, – то почему тень болит?

Алекс сделал ту самую паузу – перед последним словом.

– Потому что «боль» – тоже тень. Ты не чувствуешь боль, Лина. Ты конструируешь модель боли и принимаешь модель за реальность. Как все мы. Как вся нервная система, от моллюска до философа.

– Это удобно. Снимает ответственность.

– Это точно. Точность не бывает удобной.

Она отвернулась тогда. Не от злости – от чего-то другого: от ощущения, что он говорит это не как философ, а как человек, который уже начал отпускать. Отпускать что – она не понимала. Себя? Её? Разницу между моделью и реальностью?

За три дня до конца – последний спор. На кухне. Поздний вечер. Алекс пришёл с лекции, странно притихший, с глазами, которые смотрели не на Лину, а сквозь, в точку за её затылком, где ничего не было.

– Ты в порядке? – спросила она.

– Я думаю.

– Ты всегда думаешь.

– Я думаю о том, что будет, если я ошибался. Все эти годы. Все книги. Если сознание – не тень. Если оно – окно.

Лина поставила чайник. Медленно. Давая ему время. Он продолжил:

– Окно, Лина. Не в стене. В полу. Под нами – что-то. Не бог, не рай, не загробная жизнь, ничего из того мусора, который я критиковал двадцать лет. Что-то другое. Физическое. Реальное. Такое же реальное, как гравитация. И мы стоим на стеклянном полу и не смотрим вниз, потому что боимся.

– Алекс, что случилось на лекции?

Он не ответил. Вместо ответа повернулся к ней, и его лицо было таким, каким она не видела его никогда – открытым, уязвимым, без брони иронии и интеллектуального превосходства, с которой он родился, кажется, одновременно с пуповиной.

– Ты просто боишься, что окажется что-то большее, – сказал он.

– Чем что?

– Чем мы. Чем «я» и «ты». Чем все наши модели.

Лина посмотрела на него. На человека, которого любила четырнадцать лет. На скептика, который написал триста страниц о том, почему бессмертие – иллюзия, и который стоял перед ней с глазами ребёнка, увидевшего океан.

– Я надеюсь, что есть что-то большее, – сказала она. Медленно, подбирая каждое слово, как он её научил. – Но надежда – не аргумент.

Он улыбнулся. Грустно, нежно, как улыбаются тому, кто прав и кто поэтому проиграет.

– Нет, – сказал Алекс. – Не аргумент. Но иногда надежда – единственное, что остаётся, когда аргументы кончаются.

Через три дня он заснул. На их кровати, в час ночи, с книгой на груди – раскрытой на странице 247, где абзац начинался словами: «Если сознание действительно является...» Предложение осталось неп прочитанным. Лина нашла его утром. Он дышал. Сердце билось. Глаза были закрыты – не открыты, как у остальных, закрыты, и на его лице застыло выражение, которое Лина не могла расшифровать: не боль, не покой, не удивление, а что-то, для чего в языке живых не нашлось слова.

Она просидела рядом четыре часа, прежде чем вызвала «скорую». Четыре часа, в которые она знала и не знала, держала его руку и разговаривала с ним – о завтраке, о погоде, о книге, которую он не дочитает, о кофе, который остынет, обо всём и ни о чём, – и её голос был ровным, а пульс – семьдесят два удара в минуту, она потом проверила по записи линзы, идеально ровный, потому что тело уже тогда научилось не реагировать, потому что если бы оно отреагировало – она бы не встала с этого пола. Никогда.

Плейлист молчал. 4'33" кончились.

Лина открыла глаза. Кухня. Кружка. Окно, за которым Женева-Высокая мерцала созвездиями фонарей. На северной окраине, тремя ярусами ниже – «Хоспис Альпийский», шестьсот окон без теней. Где-то там – Дэвид Кирби с его обручальным кольцом и пролежнями на локтях. Где-то в Пусане – Джун-хо, чьё имя сестра шептала над чужими телами. Где-то – двести семнадцать тысяч четыреста человек, чьи мозги пульсировали в унисон, и число росло, потому что экспонента не спрашивает разрешения.

И где-то – Алекс. В связи. В четырёх герцах. В тета-ритме, которого нет в учебниках. Или нигде. Или – в кружке, которая остыла в её руках, и это было всё, что от него осталось, потому что скептик, написавший «Иллюзию бессмертия», стал самым ироничным подтверждением собственной книги.

Лина поставила кружку на стол. Встала. Подошла к терминалу. На экране – результат корреляционного поиска, который она запустила перед уходом из лаборатории. Зелёная точка не пульсировала – анализ завершён.

Глубокий слой – ноль целых семь десятых герца – не совпадал ни с одним пациентом в глобальной базе. Ни с одним из двухсот семнадцати тысяч четырёхсот. Он совпадал с чем-то другим.

Геологический сейсмограф. Станция «Карпаты-7». Фоновые колебания кристаллических формаций в неэкранированной пещерной системе. Совпадение – девяносто четыре процента.

Не мозг. Не человек. Камень.

Камень, который вибрировал на той же частоте, что и нечто, умиравшее внутри её двадцатитрёхсекундного контакта.

Лина смотрела на экран. За окном – ночь, фонари, созвездия города на склоне горы. В динамиках – тишина, настоящая, без номера и без Кейджа. И где-то в Карпатах – камень, который звучал, как боль, которую она принесла с собой из места, где три солнца освещали равнину, на которой давно уже не было ни одного живого существа.



Глава 3. Периметр

Штаб-квартира Консорциума «Периметр» занимала три верхних яруса здания, которое раньше было кантональным судом. Архитектуру перестроили, но кое-что осталось от прежней функции: высокие потолки, рассчитанные на торжественность, коридоры, спроектированные так, чтобы каждый шаг отдавался эхом, и лестничные пролёты из полированного камня, по которым невозможно было бежать без ощущения, что нарушаешь порядок. Лина подозревала, что Ваал выбрал здание именно за эту акустику. Человек, входящий в штаб-квартиру «Периметра», невольно замедлялся, выпрямлялся, понижал голос. Архитектура как инструмент дисциплины – простой и эффективный.

Брифинг был назначен на девять. Лина пришла в восемь сорок пять и обнаружила, что опоздала: зал совещаний на двадцать втором ярусе уже был наполовину заполнен. Овальный стол, двадцать кресел, голографический проектор в центре – тёмный сейчас, ждущий. Люди: пять человек из её отдела нейрофизиологии, четверо из отдела полевых операций (форменные куртки, стриженные затылки, манера сидеть так, будто стул – временное неудобство), трое из аналитического – бледные, с линзами, настроенными на постоянный поток данных, их глаза метались даже в покое. И ещё двое, которых Лина не знала: мужчина в гражданском с бейджем, на котором вместо имени стоял номер, и женщина в тёмно-синем костюме, немолодая, с руками хирурга – длинные пальцы, короткие ногти, ни одного украшения.

Ибрагим сидел в третьем ряду, листая что-то на планшете. Мин – рядом, прямая, как всегда, с планшетом наготове. Виктор – у стены, на дальнем стуле, будто стараясь занять как можно меньше пространства, что при его габаритах выглядело трогательно и бесполезно.

Лина села рядом с Ибрагимом. Он не поднял головы, но сдвинул планшет так, чтобы она видела экран. На экране – её вчерашние данные. Глубокий слой, 0,7 герца. Корреляция с Карпатами. Ибрагим подчеркнул красным одну строку: «Источник корреляции: станция „Карпаты-7“, пещерный комплекс „Бакта“, неэкранированная зона. Ближайшая к активной популяции (Будапешт-Восточный, 380 км)».

– Ты показала кому-нибудь? – спросил он, не поворачиваясь.

– Нет.

– Не показывай. – Пауза. – Пока.

Прежде чем Лина успела спросить почему, дверь за её спиной открылась, и зал совещаний наполнился той специфической тишиной, которая возникает, когда в помещение входит человек, привыкший к тому, что при его появлении затихают.

Маркус Ваал был высок – метр девяносто два, сказали бы документы, но документы не передали бы того, как он нёс эти метр девяносто два: не как данность, а как инструмент, способ занять пространство целиком, сделать его своим ещё до того, как прозвучит первое слово. Военная выправка – спина, которую не нужно было выпрямлять, потому что она никогда не сгибалась. Серый костюм, идеально подогнанный, без единого значка или знака отличия: Ваал давно перерос необходимость демонстрировать ранг. Седые волосы, короткие, жёсткие, как проволока. Лицо – узкое, с выраженными скулами и подбородком, который выглядел так, словно его тесали из того же камня, что и лестницы. Шестьдесят один год, но двигался как человек, которому сорок пять и у которого нет времени стареть.

Глаза.

Лина видела его раньше – на совещаниях, в коридорах, на видеообращениях. Но сегодня, впервые за месяцы, она оказалась достаточно близко, чтобы увидеть его глаза по-настоящему. Серые, светлые, с красной сеткой сосудов вокруг радужки – глаза человека, который давно не спит. Но не как Лина – не от снов, не от страха, не от горя. Ваал не спал потому, что считал сон расточительством в мире, где каждый час на счету. Под этой бессонницей – что-то ещё, глубже:

напряжение человека, удерживающего в голове слишком много переменных одновременно и не позволяющего ни одной выпасть.

Он сел во главе стола. Не поздоровался – не потому что невежлив, а потому что приветствия были ещё одной тратой времени.

– Двадцать три минуты назад добывающая миссия «Гюйгенс-IV» на Титане подтвердила обнаружение аномального объекта в подлёдном океане Кракена, – произнёс он. Голос – ровный, невысокий, с тем едва уловимым акцентом, который выдавал человека, выросшего на нескольких языках и не считающего ни один из них родным. – Зонд-разведчик направлен на обследование. Предварительные данные – на экране.

Голографический проектор ожил. Над столом развернулось изображение: тёмная вода – нет, не вода, жидкий метан, – луч прожектора, вырывающий из мрака край чего-то массивного. Стена. Грань. Поверхность, которая отражала свет не так, как должен отражать камень или лёд, – с внутренним свечением, тусклым, пульсирующим, словно за полупрозрачной оболочкой билось что-то живое.

– Объект расположен на глубине четырёх километров под ледяной корой, – продолжал Ваал. – Предварительные замеры: высота – от девятисот метров до километра и двухсот. Точная геометрия пока недоступна, зонд приблизился только к верхней четверти. Материал – неизвестен. Не лёд, не минерал, не металл. Спектральный анализ показывает кристаллическую структуру, но с решёткой, не соответствующей ни одному известному типу.

Ибрагим рядом с Линой чуть подался вперёд. Его палец перестал стучать по планшету – верный признак того, что он заинтересовался по-настоящему.

– Миссия «Гюйгенс-IV» – добывающая, – сказал Ваал. – Гелий-3. Рутинная операция. Объект обнаружен случайно. Капитан Нгуен сообщил в «Периметр» по протоколу «Зеркало» – любой аномальный находок в зонах потенциальной когеренции. – Он помолчал. Одну секунду. Ровно столько, сколько нужно, чтобы следующая фраза прозвучала тяжелее. – Зонд приблизился к объекту на восемнадцать метров и зафиксировал электромагнитное излучение. Частота – ноль целых семь десятых герца.

Лина почувствовала, как Ибрагим рядом с ней перестал дышать. Ноль семь. Та самая частота. Глубокий слой. Карпаты. Вчерашний контакт. Она не показала – пока, – но Ваал говорил о том же сигнале.

– Мы направили зонд на детальное обследование, – сказал Ваал. – Контакт с поверхностью объекта запланирован на послезавтра, четырнадцать ноль-ноль по женеvскому времени. Трансляция – в этом зале. Состав присутствующих – ограниченный.

Он обвёл взглядом зал. Медленно, задерживаясь на каждом лице: не проверка – инвентаризация. Когда его взгляд остановился на Лине, она ощутила это физически, как прикосновение луча сканера – точное, безэмоциональное, оценивающее. Две секунды. Потом он двинулся дальше.

– Вопросы – после. Вводная – закончена.

Зал зашевелился. Кто-то потянулся к планшету, кто-то перешёптывался. Женщина в тёмно-синем костюме что-то записывала стилусом на голографическом блокноте, и её движения были быстрыми, экономными, как у человека, привыкшего фиксировать информацию в условиях, когда записывать опасно. Мужчина с номерным бейджем не шевельнулся – сидел, сложив руки на столе, с лицом, которое ничего не выражало по профессиональной необходимости.

Ибрагим повернулся к Лине. Его глаза были круглыми.

– Ноль семь, – произнёс он одними губами.

Она кивнула.

– Не сейчас.

Брифинг продолжился: технические детали миссии, протоколы безопасности, расписание трансляции. Лина записывала машинально, но её мозг был в другом месте – на пересечении двух графиков: вчерашней корреляции с Карпатами и сегодняшней частоты с Титана. Ноль семь. Одна и та же нота – в пещере под Карпатами и в подлёдном океане на спутнике Сатурна, в полутора миллиардах километров от Земли. Совпадение? Ибрагим сказал бы: покажи мне р-значение, и я скажу тебе, совпадение ли это. Но Лина уже знала ответ. Не потому что посчитала – потому что чувствовала тот же тон в собственных костях, в груди, где вчера ныла чужая боль, которую она так и не вернула.

Брифинг закончился в девять тридцать две. Люди начали расходиться. Лина встала, подобрала планшет, повернулась к выходу.

– Доктор Чэнь.

Голос Ваала – тот же тон, что на брифинге, но тише. Не приказ – приглашение, от которого не отказываются.

Она обернулась. Ваал стоял у дальнего конца стола, один – остальные уже ушли или уходили, и его фигура на фоне панорамного окна с альпийским хребтом выглядела как иллюстрация к учебнику по композиции: человек и горы, масштаб и одиночество.

– Задержитесь.

Ибрагим у двери бросил на неё взгляд. Лина чуть качнула головой – иди. Он ушёл. Дверь закрылась. Зал опустел.

Ваал не сел. Стоял, глядя в окно, заложив руки за спину – жест, который на ком-нибудь другом выглядел бы позой, но на нём смотрелся как привычное положение тела, выработанное десятилетиями.

– Я читал ваш отчёт, – сказал он. – Вчерашний инцидент в изоляторе. Двадцать три секунды контакта, восемьдесят один процент корреляции с пациентом, потеря ориентации. – Пауза. Короткая, точная, как разрез. – Вы первый исследователь «Периметра», который вошёл в когерентное состояние спонтанно, без внешнего триггера, за пределами эхо-камеры. Вам это известно?

– Пациент был триггером.

– Пациент был в полутора метрах, за экраном из метаматериала. Экран рассчитан на подавление резонанса в радиусе до пятидесяти сантиметров. Вы были за пределами его эффективности, – он повернулся к ней, – но вы и сами это знаете.

Лина молчала. Он был прав. Она знала. Экран не мог быть причиной – расстояние было слишком велико. Её мозг вошёл в когеренцию сам, используя пациента как камертон, но не нуждаясь в нём как в источнике. Молния, которая нашла свою грозовую тучу, – но для молнии нужно напряжение, и это напряжение было внутри неё.

– Я хочу показать вам кое-что, – сказал Ваал. – Не для протокола.

Он подошёл к голографическому проектору и ввёл код – длинный, двенадцатизначный, пальцами, а не через линзу. Лина заметила: он намеренно не использовал линзу. Всё, что проходило через линзу, регистрировалось координатором. Ваал вводил код вручную, в зале совещаний, где системы записи были отключены – она видела тёмные индикаторы на стенах. Разговор, которого не будет в логах.

Над столом развернулась модель – не изображение, а массив данных, структурированный как трёхмерный график. Горизонтальная ось – время, с 2141 года по 2158-й, с пунктирной проекцией до 2170-го. Вертикальная – число «спящих», в тысячах. Кривая начиналась у отметки «0» в 2141-м и ползла вверх, сначала медленно – плоская, почти линейная, – потом быстрее, потом ещё быстрее, загибаясь вверх с бесстыдной неизбежностью экспоненты.

– Официальная статистика «Периметра», – сказал Ваал. – Данные, которые мы публикуем для Климатических Альянсов и ООН.

Он коснулся проекции, и кривая удвоилась – рядом с первой появилась вторая, красная, круче и быстрее.

– Реальная статистика. С учётом неучтённых случаев в Экваториальном Поясе – там регистрация неполная, координаторы перегружены, многие спящие просто остаются дома и их находят через недели, месяцы. Реальная цифра сейчас – не двести семнадцать тысяч. Ближе к двумстам пятидесяти.

Лина смотрела на красную кривую. Та не ползла – летела, и расстояние между ней и синей «официальной» увеличивалось с каждым годом, как трещина в плотине.

– Моя модель, – продолжал Ваал, – основана на допущении, что темп роста сохранится. Он ускоряется – по причинам, которые мы не вполне понимаем, – но если экстраполировать даже текущий темп. – Он провёл пальцем по оси времени. Кривая достигла отметки «2158». – Через одиннадцать лет – каждый десятый. Восемьсот миллионов человек. – Палец скользнул дальше. «2170». – Через двадцать три – каждый второй. Четыре миллиарда. Задолго до этого – конец цивилизации в том виде, в каком мы её знаем.

Слова были произнесены без интонации – как показания датчика, как строка в отчёте. Ваал не драматизировал. Он сообщал. И именно от этой сухости у Лины сжалось что-то в животе, потому что человек, стоящий перед ней, говорил о конце мира тоном, которым метеоролог зачитывает прогноз.

– У нас нет тридцати лет, доктор Чэнь, – сказал Ваал. – У нас, может быть, нет десяти.

Он коснулся проектора снова. Третья кривая – зелёная – наложила на первые две. Не число спящих, а что-то другое: набор параметров, перекрёстных, связанных, падающих по мере того, как красная кривая росла.

– Это не моя модель, – сказал Ваал. – Это модель вашего коллеги Хасана. Он прислал её мне четыре месяца назад, с пометкой «не для публикации». Я уважил его просьбу, но не его робость.

Лина узнала руку Ибрагима: строгая структура, скупые подписи к осям, ни одного лишнего параметра. Зелёная кривая описывала не людей, а системы: орбитальные фермы, термоядерные реакторы, климатические установки, транспортные сети, водоснабжение. Каждая линия – отдельная, но все они шли вниз с того момента, когда красная переваливала через определённый порог.

– Ваш коллега посчитал то, что я не хотел считать, – произнёс Ваал. – При текущем темпе через пятнадцать лет начнутся каскадные отказы систем жизнеобеспечения. ИИ-координаторы компенсируют – частично. Но орбитальные фермы требуют человеческого обслуживания. Не потому что координаторы не умеют – они умеют. Но оборудование ломается физически, и для ремонта нужны руки. Человеческие руки. Термоядерные реакторы – тот же принцип. Климатические станции. Логистика метаматериалов. – Он помолчал. – Через двадцать лет – не «каждый второй спит». Через двадцать лет – некому кормить тех, кто ещё не спит.

Лина стояла перед тремя кривыми – синей, красной, зелёной – и думала о том, что графики, в отличие от людей, не умеют лгать. Их можно неправильно построить, неправильно интерпретировать, заложить неверные допущения. Но если допущения верны, график – приговор.

– Почему вы показываете это мне? – спросила она.

Ваал выключил проектор. Кривые исчезли. Зал совещаний стал обычным залом – полированный стол, кресла, окно с горами.

– Потому что вчера вы вошли в когерентное состояние без внешнего триггера. – Он сел наконец, и это простое действие – Ваал, сидящий – изменило геометрию разговора. Он перестал быть фигурой у окна и стал человеком за столом, напротив другого человека. – Потому что за три года работы «Периметра» ни один из наших исследователей не смог повторить это. Ни

один. Мы пробовали – экранированные эхо-камеры, калиброванные нейроинтерфейсы, добровольцы-медитативисты. Результаты – нуль. Вы – первая.

– Мне просто повезло с параметрами мозга.

– Возможно. Или, – он чуть наклонил голову, – у вас есть мотивация, которой нет у остальных. Мотивация, не описанная в вашем личном деле, но достаточно очевидная для любого, кто знает вашу историю.

Тишина. Не та – обыкновенная.

– Мой муж, – сказала Лина. Ровно. Без вопросительной интонации. Констатация.

– Алекс Чэнь. Философ сознания. Автор «Иллюзии бессмертия». Один из первых подтверждённых случаев аномалии Танаки – март 2144-го. Пациент двенадцать тысяч четыреста шестьдесят один в реестре «Периметра».

Число. Она знала его, конечно, – видела в документах, в базах данных, на экранах мониторов. Но из уст Ваала оно прозвучало иначе: как учётный номер на складе, как инвентарная бирка на предмете, который когда-то был человеком. Ваал не хотел задеть – он просто жил в мире, где каждый спящий был числом в экспоненте, а экспонента – угрозой виду. У него не было роскоши видеть в числах лица.

– Я не использую личные обстоятельства сотрудников как инструмент давления, – сказал Ваал. – Но я не притворяюсь, что не вижу их. Ваш контакт со связью – ценен. Ваша мотивация – причина, по которой контакт возможен. И она же – причина, по которой я не могу вам доверять полностью. – Он посмотрел на неё прямо, без увёрток. – Вы учёный, доктор Чэнь. Но вы также вдова. И я не знаю, какая из этих ролей определяет ваши решения.

– Я тоже не знаю, – сказала Лина. И удивилась собственной честности. Ваал, видимо, не удивился – кивнул, коротко, как кивают ответу, который ожидали и который предпочли бы не получать.

– Хорошо. Тогда – давайте будем работать с тем, что есть.

Он встал. Подошёл к окну. Горы за стеклом стояли неподвижно, как стояли тысячу лет назад, когда Женева ещё не было – ни старой, ни высокой, ни затопленной. Ваал смотрел на них, и Лина подумала, что он видит не горы – видит время, геологическое, безразличное, в котором человечество было вспышкой длиной в мгновение.

– Мы рассматриваем несколько опций, – произнёс он, не оборачиваясь. – Экранирование – текущая стратегия. Эффективна локально, неприменима глобально: не хватает метаматериалов, не хватает энергии, не хватает времени. Мы экранируем крупнейшие эхо-камеры, но мелкие – сотни, тысячи – вне контроля. Аномалия растёт быстрее, чем мы строим экраны.

Он повернулся.

– Есть другая опция. Сдерживание. Не локальное – глобальное.

– Какого рода?

– Технологического. – Ваал не уточнил. Его лицо не изменилось – то же выражение человека, который давно перестал отделять будничное от чудовищного, потому что в его мире они стали одним и тем же. – Подробности – не для этого разговора. Но вам следует знать, что опция существует и что она – реальна.

Лина почувствовала, как что-то в её позвоночнике сжалось. Не страх – предчувствие страха, как запах дыма за мгновение до того, как увидишь огонь.

– Глобальное сдерживание, – повторила она. – Вы говорите об оружии.

– Я говорю об инструменте, доктор Чэнь. Оружие – это вопрос намерения. Хирургический скальпель – оружие, если им режут горло. Инструмент, если им удаляют опухоль.

– И что в данном случае – горло, а что – опухоль?

Ваал посмотрел на неё. Долго, внимательно, с тем выражением, которое она начинала узнавать: оценка, калибровка, расчёт. Не холодный – просто точный, как всё, что он делал.

– Аномалия Танаки – не болезнь, – сказал он. – Я знаю. Вы знаете. Мы оба знаем, что то, с чем мы имеем дело, – не вирус и не поломка мозга. Но терминология не меняет арифметики: двести пятьдесят тысяч сегодня, восемьсот миллионов через одиннадцать лет, четыре миллиарда через двадцать три. Каскадные отказы через пятнадцать. Если то, что мы наблюдаем, – приглашение, то это приглашение на похороны нашего вида. Красивые похороны, возможно. Но похороны.

Он подошёл к столу. Его рука легла на поверхность – большая, с аккуратно стриженными ногтями, с обручальным кольцом, которое Лина заметила только сейчас. Широкое, потёртое, старого золота. Он был женат. Или был женат. Она не знала, и в личном деле директора Консорциума таких подробностей не было.

– Мы уже пробовали локальное решение, – сказал Ваал. – Извлечение. Прибор, способный прервать когерентное состояние и вернуть сознание в тело.

Лина застыла. Она знала о попытках – в самых общих чертах, из оговорок Ибрагима, из обрывков разговоров в столовой «Периметра», из классифицированных заголовков файлов, которые ей не хватало допуска открыть. Но услышать это от Ваала – прямо, без эвфемизмов – было другое.

– Результаты... неоднозначные, – сказал он. И в этом слове – «неоднозначные» – было больше, чем он произнёс. Оно было произнесено чуть медленнее остальных, с микроскопической паузой перед ним, и Лина поняла: за «неоднозначными» стоит конкретная история, конкретные тела, конкретные глаза, которые открылись – или не открылись – после процедуры.

– Сколько попыток? – спросила она.

– Семь.

– Сколько успешных?

Ваал помолчал. Не ради драматизма – ради точности: он выбирал формулировку, которая не содержала бы лжи, но и не выдавала бы всей правды.

– Определение «успеха» – дискуссионно, – сказал он. – Два субъекта вернулись к функциональному состоянию. Три – в вегетативном. Два – без эффекта. Если считать «успехом» возвращение сознания – два из семи. Если считать «успехом» возвращение человека – вопрос остаётся открытым.

Возвращение человека. Лина слышала разницу. Сознание – это данные, паттерн, функция. Человек – это всё остальное: память о том, кем ты был, способность узнать себя в зеркале, привычка класть ключи в один и тот же карман. Можно вернуть сознание и потерять человека. Ваал знал это не теоретически.

– Вы встретитесь с одним из результатов, – сказал он. – В ближайшее время. Я попрошу вас провести независимую оценку. Нейрофизиологический профиль, когнитивные тесты – стандартный набор. Плюс одна вещь, которую не может дать ни один другой исследователь «Периметра»: ваше собственное восприятие. Вы были в контакте со связью. Вы знаете, как она ощущается. Я хочу, чтобы вы посмотрели на этого человека и сказали мне, что вы видите.

– Кто этот человек?

Ваал не ответил сразу. Он смотрел на горы, на свои руки, на обручальное кольцо – последовательность, которая выглядела случайной, но не была. Потом:

– Моя дочь.

Он сказал это тем же тоном, что и «четыре миллиарда через двадцать три», и именно поэтому Лина поняла, что стоит за этими двумя словами. Человек, который произносит «моя дочь» как число в экспоненте, – человек, который заставил себя видеть в собственном ребёнке статистику, потому что если позволить себе видеть дочь – стена, которую он строил три года, рухнет, и под ней не будет ничего, кроме руин.

– Ева Ваал, – сказала Лина. Она слышала имя. Все в «Периметре» слышали – шёпотом, в курилках, в оговорках, как слышат имя призрака, который живёт этажом выше. Дочь директора. Первая спящая, которую вернули.

– Ева Ваал, – подтвердил он. – Двадцать восемь лет. Провела в аномалии четырнадцать месяцев. Извлечена. Жива. Функциональна. – Пауза. Та самая – перед последним словом, которую Лина узнала бы в любом контексте, потому что Алекс делал точно так же. – Изменена.

Он подошёл к двери. Остановился.

– Послезавтра – трансляция с Титана. Зонд войдёт в контакт с объектом. Я хочу, чтобы вы были здесь, с полным мониторингом. Нейроинтерфейс третьей версии, максимальная чувствительность. Если объект на Титане резонирует на ноль-семь герц – и если ваш мозг снова войдёт в когеренцию – я хочу это видеть. В реальном времени.

– Вы хотите использовать меня как приёмник.

Ваал обернулся. На его лице – впервые за весь разговор – промелькнуло что-то помимо расчёта. Не вина. Не сочувствие. Скорее – узнавание: он увидел в ней что-то знакомое и не был уверен, что это хорошо.

– Я хочу понять, что мы нашли, – сказал он. – И у вас есть инструмент, которого нет ни у кого: мозг, способный слышать то, что остальные не слышат. Я могу приказать – ваш контракт это позволяет. Но я прошу. Разница для меня важна, даже если результат одинаковый.

Лина думала три секунды. Потом:

– Я буду.

Ваал кивнул. Открыл дверь. И уже в коридоре, не оборачиваясь, произнёс:

– Доктор Чэнь. Когда встретитесь с Евой – не жалейте её. Она этого не любит. И не заслуживает.

Дверь закрылась. Зал совещаний опустел. Горы за окном стояли, как стояли всегда, – безразличные, холодные, настоящие.

Лина осталась одна с тишиной, которая после слов Ваала ощущалась иначе – тяжелее, плотнее, будто воздух в зале загустел от чисел, которых в нём больше не было, но которые оставили отпечаток, как тела оставляют отпечаток в кроватях хосписа: невидимый, но ощутимый.

Четыре миллиарда. Каскадные отказы. Оружие, которое он назвал инструментом. Дочь, которую он назвал результатом. И – просьба, которая была приказом, одетым в вежливость, как скальпель – в стерильную упаковку.

Она вышла в коридор. Шаги отдавались эхом – акустика бывшего суда, неумолимая и точная.

Ибрагим ждал внизу, у лифта, с планшетом под мышкой и выражением лица, которое на ком-нибудь менее сдержанном было бы нетерпением.

– Ну? – спросил он.

– Ноль семь, – ответила Лина. – Титан. Та же частота.

– Я слышал. И?

– И послезавтра зонд коснётся объекта. Ваал хочет, чтобы я была в зале с нейроинтерфейсом.

Ибрагим снял очки, протёр, надел. Дважды – значит, он не просто думал, а боролся с тем, что думал.

– Приёмник, – сказал он. Не вопрос.

– Да.

– Лина. – Он понизил голос. Лифт гудел где-то внизу, приближаясь. – То, что ты нашла вчера, – корреляция с Карпатами, – и то, что Ваал сейчас показал, – это одна и та же частота. Один и тот же сигнал. На расстоянии полутора миллиардов километров. Если это совпадение – я атеист в мечети. Если нет...

– Если нет – то мы нашли не объект. Мы нашли передатчик.

Лифт приехал. Двери раскрылись. Ибрагим зашёл, она – за ним. Двери закрылись.
– Или приёмник, – сказал Ибрагим. – В зависимости от того, в какую сторону идёт сигнал.
Лифт поехал вниз. За стеклянной стеной кабины – ярусы Женевы-Высокой, один за другим, как страницы книги, которую листают слишком быстро.

– Или маяк, – тихо сказала Лина.

Ибрагим не ответил. Его палец начал стучать по планшету – быстро, ритмично, как метроном, отсчитывающий время, которого у них, по словам Ваала, может быть, не было.



Глава 4. Кристалл

Зал командного центра «Периметра» был построен для войны, которая так и не случилась. Три яруса мониторов, полукруглый амфитеатр для операторов, потолок в шесть метров – достаточно высокий, чтобы вместить голографическую проекцию размером с комнату. В 2130-х здесь координировали климатические операции: переселение городов, перенаправление рек, борьбу с пожарами, которые охватывали целые континенты. Потом война с климатом утихла – не потому что человечество победило, а потому что обе стороны устали, – и зал перепрофилировали. Теперь здесь воевали с чем-то, что не считало себя врагом.

Четырнадцать ноль-ноль по женеvскому времени. Лина сидела в третьем ряду амфитеатра, нейроинтерфейс третьей версии на голове, шестьдесят четыре электрода мягко прижаты к коже. Рядом – Мин с планшетом, за ней – Ибрагим с дублирующим монитором. Виктор – внизу, у стойки с оборудованием, проверял калибровку в последний раз. Его руки двигались по приборам с тем методичным спокойствием, которое Лина уже научилась распознавать: так Виктор выглядел, когда ситуация требовала от него абсолютной надёжности. Не напряжение – готовность. Разница, которую понимают только те, кто когда-нибудь стоял рядом с вещами, способными убить.

Ваал – в первом ряду, один, стул перед ним пуст. Экран на его линзе погашен: он смотрел вживую, без фильтров, без данных. Просто – смотрел. По бокам от него – люди, которых Лина узнала с брифинга: женщина в тёмно-синем (её имя так и не прозвучало), мужчина с номерным бейджем, четверо из полевых операций, шестеро учёных – астрофизики, планетологи, один геолог. Все молчали. Молчание было таким плотным, что Лина слышала гудение систем охлаждения голографического проектора – тонкое, почти за пределами слуха, как писк комара в пустой комнате.

– Связь с «Гюйгенс-IV» стабильна, – произнёс оператор внизу, в яме амфитеатра. – Задержка сигнала – семьдесят шесть минут. Зонд-разведчик «Нерей» в автономном режиме. Мы наблюдаем запись, сделанную час и шестнадцать минут назад.

Час и шестнадцать минут. То, что они увидят, уже произошло. Свет из прошлого – как свет далёких звёзд, который летит к нам миллионы лет и приносит образы того, чего, возможно, больше нет. Лина подумала об этом и подумала о том, что вся её профессия была, по сути, изучением света из прошлого – мозговых паттернов, записей, данных, которые к моменту анализа уже успевали стать историей.

– Запускаю трансляцию, – сказал оператор.

Голографический проектор развернул изображение – огромное, объёмное, заполнившее центр зала. Темнота. Абсолютная, не земная темнота – без звёзд, без отражений, без горизонта. Только луч прожектора зонда, упирающийся в мутную жидкость: метан, этан, следы азотных соединений – океан Кракена, подлёдный, вечный, минус ста восьмидесяти градусов. Луч выхватывал частицы взвеси, медленно кружившиеся в потоке, который создавал сам зонд, – как снежинки в свете фар на ночной дороге. Только эти снежинки были из замёрзших углеводородов, а дорога вела вниз, в глубину, где давление раздавило бы незащищённое тело в кашу за доли секунды.

Зонд опускался. Цифры глубины бежали в углу проекции: 3 200 метров, 3 400, 3 600. Камера фиксировала стены разлома – ледяного каньона, прорезавшего корку Титана, узкого наверху и расширяющегося с глубиной, как перевёрнутая воронка. Стены – гладкие, матовые, с полосами, похожими на годовые кольца дерева: слои льда, образовавшиеся за миллиарды лет, каждый – летопись эпохи, которую никто никогда не прочтёт.

3 800 метров. 3 900. Луч прожектора метнулся – автоматическая коррекция курса. Зонд обогнул выступ ледяной породы и вошёл в открытое пространство.

И тогда Лина увидела.

Кристалл заполнил проекцию целиком – не потому что проектор увеличил масштаб, а потому что кристалл был таким большим, что не помещался в поле зрения камеры. Луч проектора скользнул по его поверхности и утонул: кристалл поглотил свет, пропустил через себя и вернул – но изменённым, преломлённым, раздробленным на спектры, которых не бывает в природе. Радужные блики, но неправильные: вместо привычного разложения – от красного к фиолетовому – цвета шли в обратном порядке, и между ними были полосы чего-то, чему не было названия. Не ультрафиолет, не инфракрасное – что-то за пределами спектра, что камера зонда всё же зарегистрировала, переведя в видимый диапазон как пульсирующее свечение цвета старого золота.

Полупрозрачный. Километр высотой – цифры телеметрии подтвердили: от основания до вершины – девятьсот восемьдесят метров. Почти километр кристаллической структуры, выросшей – или построенной, или ставшей – в подлёдном океане спутника Сатурна, при температуре минус сто восемьдесят и давлении, способном расплющить подводную лодку.

Но не это было страшным.

Страшным было то, что внутри.

Кристалл был полупрозрачен, и проектор зонда, проникая сквозь поверхность, высвечивал внутреннюю структуру – слой за слоем, как рентген, обнажающий кости. Внутри были формы. Не случайные – организованные, повторяющиеся, с симметрией, которая кричала о намерении. Но формы были неправильными. Не неправильными в смысле дефекта – неправильными в смысле невозможности: углы, которые не складывались в евклидову геометрию, кривые, которые замыкались сами в себя, поверхности, у которых не было внутренней и внешней стороны. Отпечатки тел – но не тел, потому что тела подразумевают анатомию, а анатомия подразумевает биологию, а то, что застыло внутри кристалла, не было биологией ни в каком понимании, доступном человеческому разуму.

Застывшие волны. Фракталы, повторяющие себя на каждом масштабе – от микронов до метров. Нечто, похожее на раковины, если бы раковины росли в четырёх измерениях и были сплетены из света. Нечто, похожее на крылья, если бы крылья были мембранами между состояниями материи. Нечто, для чего не было слова ни в одном языке Земли, потому что языки строятся из опыта, а опыта такого рода у человечества не было.

Отпечатки существ, которых больше нет. Могила. Маяк. Памятник цивилизации, ушедшей четыре миллиарда двести миллионов лет назад – до того, как на Земле появились первые многоклеточные организмы, до того, как кислород наполнил атмосферу, до того, как жизнь решила, что ей нужны глаза, чтобы видеть мир, в котором она оказалась.

В зале никто не дышал.

Баал сидел неподвижно. Его руки лежали на подлокотниках – спокойные, контролируемые. Но костяшки пальцев побелели.

– Боже мой, – сказал кто-то из учёных. Голос дрогнул. Шёпот, но в тишине зала он прозвучал как крик.

Зонд продолжал опускаться. Камера скользила вдоль поверхности кристалла, и каждый метр открывал новые формы, новые невозможности, новые отпечатки существ, которые жили, думали, строили – и ушли, оставив по себе этот монумент из застывшей когеренции, этот камертон размером с гору.

Данные телеметрии бежали по боковым экранам: температура поверхности объекта – минус сто семьдесят восемь (на два градуса теплее окружающего океана – объект генерировал собственное тепло, ничтожное, но измеримое). Электромагнитное излучение – подтверждено, частота 0,7 герца, амплитуда растёт по мере приближения. Масс-спектрометрия поверхности – ошибка, повтор, ошибка. Прибор не мог определить химический состав. Не потому что не хватало чувствительности – потому что состав не соответствовал периодической таблице. Эле-

менты были знакомыми – кремний, углерод, кислород, следы металлов, – но их организация была иной. Не молекулы. Не кристаллическая решётка в обычном понимании. Что-то другое: структура, в которой атомы были связаны не химическими, а топологическими узлами – квантовыми корреляциями, вплетёнными в саму ткань материи.

– Зонд готов к контакту, – произнёс оператор. – Манипулятор выдвинут. Дистанция – четыре метра.

– Данные нейроинтерфейса? – Голос Ваала. Ровный, тихий. Он не повернулся.

Мин посмотрела на монитор. Посмотрела на Лину.

– Паттерны – в норме, – сказала она. – Пульс – восемьдесят два. Альфа-ритм стабильный. Без аномалий.

– Продолжаем, – сказал Ваал.

Лина смотрела на кристалл и чувствовала – пока ещё на уровне предчувствия, лёгкого покалывания в затылке, как перед грозой, – что нечто приближается. Не зонд к кристаллу. Нечто – к ней. Частота 0,7 герца пульсировала в колонках телеметрии, и Лина поняла, что слышит её не ушами, а чем-то другим – тем самым органом, которым три дня назад увидела оранжевую равнину. Он был разбужен. Он ждал.

Манипулятор зонда – тонкий титановый штырь с датчиком на конце – выдвинулся к поверхности кристалла. Два метра. Один. На кончике датчика – алмазное покрытие, способное выдержать температуру от абсолютного нуля до двух тысяч градусов. Инженеры «Гюйгенса-IV» проектировали его для бурения льда, не для контакта с невозможным. Но манипулятор – это просто рука, а рука – это просто способ прикоснуться. К чему бы то ни было.

Полметра.

Десять сантиметров.

Лина сжала подлокотники кресла. Покалывание в затылке усилилось – стало давлением, волной, поднимающейся от основания черепа к темени. Она посмотрела на данные своего нейроинтерфейса на мониторе Мин: альфа-ритм начал замедляться. Восемь герц. Семь. Шесть. Она ещё не была в когеренции – но скользила к ней, как вагонетка, которую толкнули к краю, и гравитация делала остальное.

– Контакт, – сказал оператор.

Датчик коснулся поверхности кристалла. Одна точка – алмаз к неизвестному. Один грамм давления. Прикосновение.

И мир закончился.

Не метафора. Не постепенное погружение, не скольжение в когеренцию, не мягкий переход от «здесь» к «там». Мир – потолок зала, свет мониторов, запах озона, тепло кресла под ладонями, дыхание Мин рядом – исчез. Как свеча, задутая ветром. Как экран, выключенный одним движением. Разрыв – абсолютный, мгновенный, без предупреждения.

На его месте – ничто. Секунда или вечность – разницы не было, потому что не было времени, в котором можно было бы измерить разницу.

Потом – звук. Нет, не звук. Вибрация, заполнившая пустоту, как вода заполняет пустой сосуд – мгновенно, целиком, без пузырей. Вибрация на частоте 0,7 герца, но усиленная в миллиарды раз, ставшая не колебанием, а средой. Лина не слышала её – она была ею. Каждая клетка тела – мембрана, каждая мембрана – инструмент, каждый инструмент – голос. Она звучала вместе с чем-то настолько огромным, что её собственное сознание было одной нотой в хоре, который играл четыре миллиарда лет.

И в этом хоре – голос.

Не слова. Не мысли. Интонация – знакомая, единственная в этом океане чужого, опознаваемая с абсолютной точностью, как в толпе из тысячи незнакомцев узнаёшь одну-единственную походку. Его манера делать паузы. Его ритм – медленный, вдумчивый, с длинными гласными и короткими согласными, будто он пробует каждое слово на вкус перед тем, как

произнести. Но слов не было. Были паузы – и паузы говорили. Они говорили: я здесь. Они говорили: я тебя вижу. Они говорили: подожди.

Лина потянулась к нему – не рукой, не мыслью, а чем-то третьим, для чего не было названия, – и хор вокруг неё качнулся, как море при далёком землетрясении. Притяжение. Сильное. Не злое – безразличное, как течение, которому нет дела до того, что оно несёт. Она двигалась в его направлении, и паузы становились ближе, яснее, и каждая несла в себе нечто большее, чем молчание: каждая пауза была формой, и форма была похожа на руки, протянутые через расстояние, которое измеряется не километрами, а состояниями бытия.

Годы. Внутри – годы. Целая жизнь, спрессованная в одно мгновение или растянутая на вечность – она не знала, потому что время здесь не было линией, оно было объёмом, пространством, по которому можно двигаться в любом направлении, и каждое направление вело к тому же голосу, к тем же паузам, к тому же присутствию, которое было и Алексом, и не Алексом, и чем-то невыразимо большим, чем они оба.

А потом – боль.

Острая, химическая, с привкусом железа на языке. Прорыв – как кулак, пробивший стену. Адреналин, впрыснутый в вену, разорвал хор пополам, вытащил Лину из частоты и швырнул обратно в тело, которое задыхалось, которое хрипело, которое лежало на полу зала командного центра в позе, в которой падают, когда ноги отказывают мгновенно, – скомканная, неудобная, левая рука подвёрнута, нейроинтерфейс сбит набок.

Крик Мин – близко, над ухом. Не слова – звук, необработанный, животный. Потом слова:

– Она не дышит! Она не—

– Дышит, – голос Ибрагима, хриплый, задавленный. – Сейчас дышит. Пульс – сорок четыре, растёт. Паттерны – десинхронизируются. Она возвращается.

Руки. Чьи-то руки перевернули её на спину. Потолок зала – шесть метров белого пластика, вентиляционные решётки, индикаторы системы пожаротушения. Реальный. Конкретный. Здесь.

– Лина. Лина, ты слышишь меня?

Ибрагим. Его лицо – над ней, крупным планом, осунувшееся, с расширенными зрачками. Она видела каждую пору на его коже, каждый седой волос в бороде, которую он не брил третий день. Его рука – на её запястье, пальцы на пульсе.

– Ты была мертва двенадцать секунд, – сказал он. – Асистолия. Мин вколола адреналин. Ты...

Он замолчал. Потому что Лина улыбнулась.

Она не хотела улыбаться. Это было неуместно – она лежала на полу, в окружении людей, которые только что наблюдали, как она умерла и вернулась, её сердце колотилось с переборами, кровь из прикушенного языка текла по подбородку, нейроинтерфейс свисал с виска, как сломанное крыло. Но она улыбнулась, потому что двенадцать секунд снаружи были годами внутри, и в этих годах был голос, и голос делал паузы, и паузы были его руками, и она не могла перестать улыбаться, как не может перестать плакать человек, которого только что вытащили из воды, – не от радости, а от физиологии, от нервов, от того, что тело делает вещи, которые разум не успевает одобрить.

– Помоги мне сесть, – сказала она. Голос – чужой, низкий, хриплый. Горло болело. Она кричала? Не помнила.

– Ты куда не—

– Ибрагим. Помоги мне сесть.

Он помог. Его руки дрожали. Она заметила и не стала замечать.

Зал командного центра выглядел так, словно по нему прошла ударная волна. Люди – кто стоял, кто сидел, кто прижимался к стене. Несколько операторов внизу склонились над мониторами, пальцы летали по клавиатурам. Голографическая проекция мерцала – зонд «Нерей»

всё ещё транслировал, и кристалл Титана сиял в центре зала, но теперь на него никто не смотрел. Все смотрели на мониторы.

На мониторах – числа. Числа, которые росли.

– Семьсот двадцать три, – сказал оператор голосом, лишённым интонации, – голосом человека, который прочёл число и не поверил, перечитал и не поверил снова, и теперь произносил его вслух в надежде, что голос поверит за него. – Семьсот двадцать три одновременных случая аномалии Танаки. Зарегистрированных. По всему миру. В момент контакта зонда с объектом.

Тишина. Другая тишина – не та, что была до контакта. Та была ожиданием. Эта – пониманием.

– Пять континентов, – продолжал оператор, листая данные. – Женева – четырнадцать случаев. Берлин – девять. Токио – шестьдесят один. Найроби-Центральная – двести четыре. Мумбаи – сто тридцать семь. Остальные – рассредоточены. Синхронизация паттернов – полная. Все вошли в аномалию одновременно. С точностью до миллисекунды.

Найроби – двести четыре. Мумбаи – сто тридцать семь. Лина подумала: Экваториальный Пояс, без экранирования, без метаматериалов. Удар по незащищённым. Как всегда.

Ваал стоял – когда он встал? – лицом к проекции кристалла. Его спина была прямой. Его руки – за спиной, сцеплены. Его голос – когда он заговорил – был тем же, что и всегда: контролируемым, тихим, ровным.

– Свяжитесь с каждым региональным центром. Полный отчёт. Статус объекта – «Зеркало-один». Информация – «только для директора». Зонд – отвести от объекта немедленно. Двенадцать метров минимальной дистанции. Без контакта. – Пауза. – И доктор Чэнь жива. На протокол.

Он не обернулся. Но последняя фраза была произнесена чуть тише – не для зала, а для себя. Или для Лины. Или для кого-то, кого здесь не было.

Мин сидела на полу рядом с Линой, сжимая пустой шприц от адреналина в побелевших пальцах. Её лицо – маска. Безупречная, контролируемая маска, за которой Лина видела трещины: подрагивание уголка рта, быстрое моргание, жилка на виске, бьющаяся в ритме, слишком частом для покоя. Мин только что перезапустила сердце своего руководителя. Мин – двадцатишестилетняя аспирантка, которая пришла в «Периметр» не ради науки, а ради брата, – только что воткнула иглу в грудину женщины, которую она не любила и не ненавидела, а нуждалась в ней, как нуждаются в инструменте, и этот инструмент чуть не сломался.

– Спасибо, – сказала Лина.

Мин посмотрела на неё. Убрала шприц в карман халата. Встала.

– Не за что, – ответила она. Голос – ровный. Руки – больше не дрожали. Она овладела собой быстрее, чем Ибрагим. Быстрее, чем Лина. Как человек, привыкший к тому, что мир ломается, и научившийся собирать себя обратно прежде, чем осколки успеют остыть.

Ибрагим помог Лине подняться в кресло. Проверил пульс, зрачки, рефлексы – медицинская рутина, проделанная руками учёного, не врача, но проделанная компетентно. Его пальцы касались её запястья, её висков, и Лина чувствовала их тепло – живое, человеческое, с чуть повышенной влажностью, потому что ладони у Ибрагима потели, когда он нервничал, и он нервничал сейчас, хотя лицо не показывало ничего, кроме профессиональной сосредоточенности.

Потом Ибрагим отступил. Отвернулся. Снял нейроинтерфейс мониторинга – свой, не её, – тот, который он носил всё время трансляции для параллельной записи нейронных паттернов наблюдателя. Стандартная процедура: контрольная группа, фон, база для сравнения. Он посмотрел на маленький экран прибора.

Его пульс – сто двадцать. Высокий, но объяснимый: стресс, страх за коллегу, выброс кортизола.

Его нейронные паттерны – нормальные. Альфа-ритм. Фоновый шум. Ни малейшего отклонения. Ни следа когеренции, ни намёка на синхронизацию. Пока семьсот двадцать три человека по всему миру падали в аномалию, пока Лина в трёх метрах от него умирала и воскресала, пока кристалл четырёхмиллиардолетней давности звучал на частоте, способной вскрыть человеческий мозг, как консервный нож вскрывает банку, – мозг Ибрагима Хасана работал нормально. Идеально. Безупречно нормально.

Он ничего не почувствовал.

Ибрагим убрал прибор в карман халата. Медленно, аккуратно, как убирают вещь, к которой не хотят возвращаться. Его лицо не изменилось. Но что-то в его глазах – быстрое, мгновенное, как тень птицы на стене – мелькнуло и исчезло. Облегчение. Или разочарование. Он не хотел знать, что из двух. Он не хотел быть уверен.

У него были дети. Сын двадцати лет, дочь семнадцати. Его жена Мариам умерла двадцать два года назад – при родах дочери, из-за сбоя диагностического ИИ, из-за ошибки, которой не должно было случиться в мире, где машины умнее врачей. С тех пор Ибрагим верил только в то, что можно измерить. Измерения сейчас говорили: ты в безопасности. Ты нормальный. Ты – вне.

Он стоял в трёх метрах от Лины и думал: я нормальный. Он стоял в трёх метрах от Лины и думал: мои дети – нормальные. Он стоял в трёх метрах от Лины и думал: ничего не почувствовал.

Прибор лежал в кармане, выключенный, с данными, которые подтверждали всё, чему он хотел верить.

Он вернулся к монитору. Начал обрабатывать данные Лины – быстро, сосредоточенно, с яростью человека, который решает уравнение, потому что альтернатива – задать себе вопрос, на который он не готов ответить.

Через два часа, когда зал частично опустел и операторы перешли в режим мониторинга, когда данные о семистах двадцати трёх случаях продолжали поступать из региональных центров и число ползло вверх – семьсот сорок один, семьсот пятьдесят шесть, корректировки, запоздалые регистрации из Экваториального Пояса, – Лина сидела в кресле, пила воду маленькими глотками и смотрела на кристалл Титана, который всё ещё висел в центре зала, транслируемый зондом с безопасной дистанции.

Кристалл не изменился. Ему было четыре миллиарда двести миллионов лет. Два часа человеческого времени были для него тем же, чем взмах ресницы – для горы.

Виктор подошёл и молча поставил рядом с ней стакан с горячим чаем. Откуда взял – непонятно: в командном центре не было кухни. Но Виктор обладал способностью находить простые вещи в сложных местах – чай, одеяло, работающую розетку, слово, которое не нужно произносить. Лина взяла стакан. Чай пах мятой.

– Спасибо.

Виктор кивнул. Не ушёл – сел рядом на соседнее кресло. Его большое тело заняло пространство, создав вокруг Лины зону тишины, в которой чужие голоса и шум мониторов стали тише, дальше, менее реальными. Он ничего не спрашивал. Не потому что не хотел знать – потому что знал, что есть вещи, о которых спрашивать бессмысленно. Он не мог почувствовать то, что почувствовала Лина. Не мог слышать то, что она слышала. Его мозг – камертон на 439, негодный для оркестра. Но он мог сидеть рядом, и его тишина – его настоящая, абсолютная, несломанная тишина – была якорем. Точкой, от которой можно было оттолкнуться, чтобы вернуться.

– Двенадцать секунд, – сказала Лина. – Снаружи.

– А внутри?

– Не знаю. Много. Очень много.

Виктор кивнул. Не удивился. Не потребовал уточнений. Принял – как принимают погоду, землетрясение, рассвет.

Лина пила чай и думала о двух картинах, которые стояли перед глазами, наложенные друг на друга, как два слайда в одном проекторе.

Первая: квартира в Цюрихе, три года назад. Ева Ваал – двадцать пять лет, аспирантка-нейрохимик, дочь директора Консорциума. Вечер. Телевизор показывает комедию – какой-то ситком, смех за кадром, яркие декорации, актёры с белозубыми улыбками. Ева сидит на диване с чашкой какао. Обычный вечер. Обычная жизнь. И посреди сцены, где герой поскользывается на банановой кожуре, – записи камеры наблюдения, которые Лина видела в архиве «Периметра» на прошлой неделе, – Ева роняет чашку, встаёт, делает два шага к двери и падает лицом на паркет. Какао растекается по полу. На телевизоре – смех. Камера фиксирует: 21:42:17. Одновременно с Евой – ещё тридцать четыре человека в одиннадцати странах. Одна и та же секунда. Один и тот же ритм. Четыре герца.

Маркус Ваал приехал через двадцать минут. Записи – без звука, но Лина видела, как он вошёл, как остановился на пороге, как – три секунды, четыре, пять – стоял и смотрел на тело дочери на полу, на какао, на телевизор, где продолжался ситком. Потом опустился на колени. Приложил пальцы к шее. Нашупал пульс. Его губы шевельнулись – что он сказал, запись не зафиксировала. Может быть, её имя. Может быть, ничего. Может быть – молитву, хотя Ваал не был человеком, который молится.

Вторая картина: та же квартира, четырнадцать месяцев спустя. Тот же диван, но без телевизора – его убрали, зачем нужен телевизор в комнате, где пациент в кататонии. Кровать – медицинская, с боковыми ограждениями, с датчиками, с капельницей. На прикроватной тумбочке – прибор, маленький, размером с книгу, гудящий на частоте, которую нельзя услышать ушами, но можно почувствовать зубами: прото-Тишина, портативный прототип, первое и единственное устройство, способное заморозить квантовую когеренцию в радиусе нескольких метров.

Ирен Мбеки – в углу, за терминалом, руки на клавиатуре. Ваал – у кровати. Его лицо – Лина видела запись – было лицом человека, который стоит на краю обрыва и знает, что должен прыгнуть, но не знает, что внизу. Надежда и ужас в равных пропорциях, как два реагента, которые при смешивании дают взрыв.

Ирен включила прибор.

Гул – не слышимый, но ощутимый: воздух в комнате изменился, стал плотнее, суше, как перед грозой. Прибор создал зону тишины – сферу диаметром четыре метра, внутри которой квантовая когеренция замёрзла, как озеро в январе. Нить, связывавшая мозг Евы с двумястами тысячами других мозгов по всей планете, – оборвалась. Не порвалась – заледенела. И Ева, бывшая четырнадцать месяцев в хоре, который пел на частоте четыре герца, вдруг оказалась в абсолютной тишине.

Три секунды. Самые длинные в жизни Маркуса Ваала – он говорил это потом, в единственном интервью, которое дал и которое было засекречено. Три секунды, в которые глаза Евы были открыты, но не видели. Зрачки – расширены, потом сужены, потом расширены снова. Мозг перезагружался. Сознание – выброшенное из океана на берег – искало себя, как человек, просыпающийся после наркоза, – где я? кто я? что это за руки? почему стены? что значит «стены»?

На четвёртой секунде что-то в её взгляде сфокусировалось. Она увидела Ваала. Она увидела – Лина знала это из отчёта – человека, которого узнала. Не сразу. Не целиком. Как узнают мелодию, когда слышат одну ноту: часть памяти включилась раньше остальных, и эта часть сказала: я знаю этого человека, я знаю слово для него, слово – «папа».

Ева открыла рот. Её голос – после четырнадцати месяцев молчания – был ровным, тихим, без хрипоты, без надлома, без всего, что ожидаешь от голоса, который не использовался больше года. Ровный, как поверхность озера, по которой ещё не прошла рябь.

– Папа, – сказала Ева. – Ты вытащил скрипку из оркестра.

И Лина, сидя в кресле командного центра через три года после этого момента, с чаем, остывающим в руках, с нейроинтерфейсом, висящим на шее, как бесполезный амулет, с кровью на подбородке и голосом мужа, который всё ещё звучал в костях, – Лина подумала: скрипка, которую вытащили из оркестра. Вот что она. Вот что Ева. Вот что каждый из двухсот пятидесяти тысяч – а теперь, после сегодняшнего, двухсот пятидесяти тысяч и семисот пятидесяти шести. Скрипки, утонувшие в симфонии. И вопрос – не «как вытащить», а «нужно ли». И если нужно – какая музыка останется?

Она поставила чай на подлокотник. Поднялась. Ноги держали – не уверенно, но держали. Виктор встал рядом, готовый подхватить, и ей хотелось сказать ему: не нужно, я в порядке, – но она знала, что он всё равно будет стоять рядом, потому что так он устроен. Кто-то должен стоять на берегу, когда другие ныряют. Даже если он никогда не узнает, что в воде.

На мониторе – кристалл Титана. Четыре миллиарда двести миллионов лет. Могила. Маяк. Камертон, настроенный на частоту, которая звучала в костях Лины, как эхо, которому некуда деться.

Баал стоял у выхода из зала. Его глаза – красные от бессонницы, светлые, пустые – встретились с её глазами. Секунда. Он кивнул. Не одобрение. Не вопрос. Подтверждение: ты жива, это достаточно, на остальное – потом.

Лина вышла из зала. Коридор бывшего суда, эхо шагов, полированный камень. За окном – Женева-Высокая, вечер, фонари. Обычный мир, в котором семьсот пятьдесят шесть человек только что перестали быть обычными, и никто на улицах этого ещё не знал.

Она прислонилась к стене. Закрыла глаза. За закрытыми веками – оранжевый свет, три солнца, равнина, хор, паузы, голос, который делал их так же, как делал при жизни, только теперь паузы значили другое, и это другое было одновременно прекрасным и невыносимым.

Двенадцать секунд снаружи. Годы внутри. И ни одного слова, которым можно было бы рассказать о том, что она видела, – потому что слова принадлежали миру, в котором вещи существуют по отдельности, а там, где она была, всё существовало вместе, и это «вместе» не переводилось на человеческий.

Её линза мигнула. Входящее сообщение от координатора «Хильды»: «Доктор Чэнь. Зафиксированы нетипичные показатели вашего здоровья. Рекомендация: медицинское обследование. Ближайший терминал – ярус 19, блок В.»

Лина закрыла сообщение. Оттолкнулась от стены. Пошла к лифту.

В лифте – одна. Зеркальная стена. Она посмотрела на себя: бледная, с тёмными кругами, с засохшей кровью на подбородке, с глазами, в которых – если смотреть внимательно, если знать, куда смотреть, – плескалось что-то новое. Не страх. Не восторг. Что-то среднее: знание, которое ещё не стало мыслью, но уже перестало быть ощущением. Зародыш понимания – крошечный, хрупкий, опасный.

Она знала – ещё не словами, ещё не формулами, ещё не теориями, – но знала: то, что произошло сегодня, – не случайность. Не совпадение. Не побочный эффект. Кристалл на Титане ждал четыре миллиарда лет. Ждал прикосновения. Ждал руки – любой руки, любого вида, любого уровня развития, – чтобы сказать единственное, что хотел сказать: мы были здесь. Мы услышали. И мы ушли. Ваша очередь.

Лифт остановился на её ярусе. Двери открылись. Коридор. Квартира. Дверь. Ключ. Порог.

Синяя кружка на кухонной стойке ждала, как ждала каждый вечер. «Cogito ergo dubito». Я мыслю, следовательно, сомневаюсь. Алекс купил её на конференции в Праге, в 2139-м, за три евро, и сказал: «Это лучше, чем Декарт. Декарт остановился слишком рано.»

Лина взяла кружку. Подержала. Поставила обратно.

Двенадцать секунд. Годы. И голос, который делал паузы – не потому что подбирал слова, а потому что слова больше не были нужны.



Глава 5. Данные

Лина не спала. Не от страха – от данных.

Она сидела в лаборатории четвёртый час подряд, голографический экран развёрнут на полную стену, и на стене – семьсот пятьдесят шесть точек, рассыпанных по карте мира. Окончательное число: первоначальные семьсот двадцать три скорректировали за ночь – запоздалые регистрации из районов с перегруженными координаторами. Каждая точка – человек, потерявший сознание в тот момент, когда титановый манипулятор зонда «Нерей» коснулся поверхности кристалла на глубине четырёх километров, на расстоянии полутора миллиардов километров от Земли.

Точки складывались в рисунок. Не случайный. Лина пробовала рандомизировать выборку – перемешать координаты, подставить фиктивные, проверить на кластеризацию. Рандомизированные выборки выглядели как шум. Настоящая – как созвездие: плотные скопления в Экваториальном Поясе (Найроби – двести четыре, Мумбаи – сто тридцать семь, Дакка-Верхняя – восемьдесят девять), редкие одиночки в экранированных зонах Северного Альянса, и между ними – пустоты, точно совпадающие с картой метаматериальных экранов.

Экранирование работало. Вот что говорили данные. Там, где стояли экраны, – почти никого. Там, где не стояли, – россыпь, горсть гвоздей, вбитых в карту молотком, которому было всё равно.

Ибрагим пришёл в шесть утра. Не поздоровался – включил кофемашину, налил две чашки, поставил одну рядом с Линой. Синтетический кофе, не настоящий, – у лаборатории не было привилегий штаб-квартиры. Лина выпила, не заметив.

– Ты вообще уходила? – спросил он.

– Нет.

Он посмотрел на экран. Молча изучал карту минуту, две. Его глаза – быстрые, тренированные, привыкшие к тому, что данные говорят больше, чем кажется, – перебежали от кластера к кластеру, от пустоты к пустоте.

– Корреляция с экранированием, – сказал он. Не вопрос.

– Десяносто четыре процента. Зоны с метаматериальными экранами – ноль случаев или единичные. Без экранов – всё остальное.

– Это ожидаемо. Экраны блокируют когеренцию, когеренция – механизм передачи. Ничего нового.

– Новое – вот. – Лина коснулась экрана. Карта трансформировалась: вместо географии – хронология. Семьсот пятьдесят шесть точек выстроились на временной оси. Все – в одной точке. Одна и та же миллисекунда. – Синхронность. Абсолютная. С точностью до тысячной доли секунды. На пяти континентах. Между Токио и Женевой – одиннадцать часовых поясов, девять тысяч километров, и ни одного миллисекундного зазора.

Ибрагим протянул руку к экрану, развернул подробности. Его лицо не изменилось, но палец, который стучал по подлокотнику, остановился – признак, который Лина за три года научилась читать лучше, чем большинство приборов.

– Скорость света, – сказал он. – Сигнал от Титана до Земли – семьдесят шесть минут. Если кристалл «отправил» что-то в момент контакта, оно не могло достичь Земли мгновенно.

– Если бы это был сигнал – да. Но посмотри на паттерны.

Она переключила экран. Вместо карты – семьсот пятьдесят шесть нейронных профилей, наложенных друг на друга. Линии – одинаковые. Не похожие, не коррелирующие – идентичные. Один и тот же ритм, одна и та же амплитуда, одна и та же фазовая структура. Как если бы семьсот пятьдесят шесть разных мозгов стали одним мозгом на одну и ту же миллисекунду.

– И вот, – сказала Лина. – Базовая частота.

Она выделила слой. 0,7 герца. Та же частота, что в Карпатских пещерах. Та же, что излучал кристалл Титана. Та же, что она уловила при первом контакте – глубокий слой, древнее умирающее сознание.

– Паттерны этих семисот пятидесяти шести людей совпадают не только между собой, – сказала Лина. – Они совпадают с кристаллом. С объектом на Титане. Вот – спектральный анализ излучения кристалла. Вот – нейронные паттерны пострадавших. Наложение.

Она наложила. Два графика слились в один. Расхождение – 0,002 процента. Погрешность прибора.

Ибрагим молчал. Долго. Кофе в его чашке остывал.

– Это не сигнал, – сказала Лина. – Кристалл не отправил сообщение. Расстояние не имеет значения. Скорость света не имеет значения. Потому что нет передачи. Есть синхронизация.

Она встала. Подошла к стене – не к голографическому экрану, а к обычной стене: белый пластик, слегка шершавый, предназначенный для того, чтобы на нём ничего не писали. Лина взяла маркер – простой, чёрный, канцелярский – и начала рисовать.

Точка. Кристалл. Вокруг – линии, расходящиеся лучами. Не лучи – нити. Не прямые – изогнутые, переплетённые, завязанные в узлы, которые не развязываются при растяжении. Она рисовала быстро, не задумываясь, как рисуют то, что видели собственными глазами, – хотя «глаза» было неправильным словом для того органа, которым она это видела.

– Реликтовая запутанность, – сказала она, не оборачиваясь. – Не обычная. Не та, которая разрушается при декогеренции. Другой тип: корреляции, вплетённые в структуру пространства-времени. Как узел на верёвке – можно растянуть верёвку сколько угодно, узел останется. Топологическая запутанность. Защищённая геометрией, не энергией.

Она рисовала вторую точку – далеко от первой. Человеческий мозг. Вокруг – те же нити, те же узлы. Соединённые с первой точкой не линией, не каналом связи, а самой структурой пространства: нити первой точки и нити второй были одними и теми же нитями, просто видимыми из разных мест.

– Кристалл и мозг связаны не потому, что один отправляет сигнал другому, – продолжала Лина. – Они связаны потому, что оба – узлы в одной и той же сети. Сети, которая существует с момента Большого взрыва. Когда вся материя была в контакте, в первые десять в минус тридцать шестой секунды – тогда возникли эти узлы. Расширение вселенной их растянуло, разнесло на миллиарды световых лет, но не порвало. Нельзя порвать топологический узел – можно только разрезать верёвку.

Она обернулась. Ибрагим стоял перед стеной, скрестив руки на груди, и его лицо было лицом учёного, которого просят поверить в невозможное – не враждебным, но закрытым, как дверь на засове. Однако он слушал. Это было главное: Ибрагим слушал.

– Топологическая когеренция, – повторил он. – Лина, это гипотеза, которую никто не подтвердил. Ни один эксперимент, ни одна рецензируемая статья.

– Никто не пробовал. Потому что никто не видел кристалл, которому четыре миллиарда лет.

– Ты экстраполируешь из одного события.

– Из двух. Мой контакт с пациентом – спонтанная когеренция. Контакт зонда с кристаллом – активированная когеренция. Разный триггер, одинаковый результат: синхронизация паттернов через расстояние, которое исключает любую передачу. Даже квантовую – обычная запутанность не передаёт информацию, и то, что мы наблюдаем, – не информация. Это состояние. Общее состояние.

Она нарисовала третью точку. Между кристаллом и мозгом – маленький кружок. Подписала: «Карпаты. 0,7 Гц». Минеральные формации в пещерах, резонирующие на той же частоте. Тоже узел. Тоже часть сети.

– Два маятника на одной балке, – сказала она. – Помнишь? Они синхронизируются не потому, что общаются, а потому, что висят на одной опоре. Балка передаёт вибрации. Кристалл, пещеры, мозг – маятники. А реликтовая запутанность – балка. Чтобы слышать, не нужно получать сигнал. Нужно перестать раскачиваться по-своему и позволить балке качать тебя.

Ибрагим смотрел на стену. На точки, на нити, на узлы. Его губы были сжаты, но глаза – живые, быстрые, считающие.

– Ты описываешь нервную систему вселенной, – сказал он.

Лина остановилась. Маркер замер в воздухе. Она посмотрела на свой рисунок – узлы, связанные нитями, покрывающие стену от края до края, – и поняла, что Ибрагим прав. Не метафорически. Буквально. Узлы – нейроны. Нити – аксоны. Кристалл – синапс. Аномалия Танаки – потенциал действия: нервный импульс, бегущий по сети, которая старше Земли на сотни миллионов лет.

Она не хотела, чтобы это было так точно. Точность означала масштаб, а масштаб означал, что то, с чем они имели дело, было не феноменом, не аномалией, не болезнью, – а свойством вселенной, таким же фундаментальным, как гравитация. И бороться с ним имело примерно столько же смысла, сколько бороться с гравитацией.

– Если это верно, – сказал Ибрагим медленно, подбирая каждое слово, как сапёр подбирает инструменты, – если реликтовая запутанность – действительно топологическая, и кристалл – действительно узел в этой сети, – тогда аномалия Танаки – не болезнь.

– Нет.

– Это ответ. Кристалл – маяк. Прикосновение его активировало.

– Не прикосновение. Контакт. Разница. Прикосновение – механическое действие. Контакт – квантовое событие: манипулятор зонда стал частью кристаллической решётки на наносекунду, этого хватило, чтобы когеренция активировалась и волна прошла по всей сети. Не от Титана к Земле – волна не имеет направления. Она прошла везде одновременно. Как рябь на поверхности пруда – только пруд бесконечен, и камень упал не в одной точке, а во всех.

Ибрагим подошёл к стене. Взял маркер – красный, – и нарисовал линию поперёк схемы Лины. Отделил кристалл от мозга.

– Есть другое объяснение, – сказал он. – Проще. Без нервной системы вселенной. Без топологической когеренции. Без того, что ты пытаешься не произносить вслух.

– Скажи.

– Резонанс. Чистый, физический, без сознательного компонента. Кристалл – колоссальный узел когеренции. При контакте он вошёл в резонанс с ближайшими биологическими узлами – мозгами людей без экранирования. Синхронизация паттернов – не потому что «нервная система вселенной» передала «импульс», а потому что частота совпала. Камертон и струна. Камертон не «разговаривает» со струной. Камертон вибрирует, и струна вибрирует в ответ. Это физика, Лина. Не мистика. Не сознание. Физика.

Лина посмотрела на красную линию, отделяющую кристалл от мозга. Ибрагим нарисовал её ровно, аккуратно, как чертит человек, привыкший к точности. Линия отсекала одно от другого: вот объект, вот субъект, между ними – расстояние, физический процесс, не нуждающийся в интерпретации.

– Когда мой паттерн совпал с паттерном из кристалла, – сказала она, – при первом контакте, с пациентом. Помнишь? Я чувствовала боль. Не свою. Чужую. Огромную. Древнюю. Сознание, умирающее миллиарды лет. Резонанс не болит, Ибрагим.

– Зеркальные нейроны, – ответил он. Быстро, отрететированно, как ответ, который он готовил заранее, потому что знал, что она это скажет. – Эмпатическая проекция. Твой мозг вошёл в резонанс с чужим паттерном и интерпретировал его как боль, потому что это единственный фреймворк, который у него есть. Ты не «чувствовала чужую боль». Ты чувствовала свою – индуцированную чужой частотой. Разница принципиальна.

– А если нет?

Ибрагим не ответил. Тишина в лаборатории была другой, чем в командном центре: не тяжёлой, а рабочей, наполненной гудением приборов, потрескиванием охлаждения, далёким шумом вентиляции. Тишина, в которой два учёных стояли перед стеной, исчёрканной маркерами, и каждый знал, что другой прав – частично. Оба объяснения работали. Оба укладывались в данные. И выбор между ними был не научным, а философским: что ты хочешь, чтобы было правдой?

Ибрагим положил маркер на стол. Его рука – правая, та, которой он рисовал, – на секунду задержалась у кармана халата. Халат лабораторный, стандартный, с четырьмя карманами. В правом нижнем – нейроинтерфейс мониторинга, который Ибрагим носил вчера, во время трансляции, и который зафиксировал его абсолютно нормальные, абсолютно скучные, абсолютно безопасные паттерны. Рука задержалась – и ушла. Он убрал руку в другой карман, нашёл там ручку, повертел, убрал.

Лина заметила. Не поняла – но заметила. Маленький жест. Человек, который касается раны, чтобы убедиться, что она ещё болит.

– Мне нужно проверить одну вещь, – сказала она. – Спектральные данные кристалла. Масс-спектрометр зонда не смог определить состав – не потому что сломался. Состав не соответствует периодической таблице. Элементы стандартные, но организация – нет. Если я права насчёт топологической когеренции – атомы в кристалле связаны не химически, а квантово. Узлами, которые нельзя порвать. Это объяснило бы, почему спектрометр выдал ошибку: прибор ищет химические связи, а их нет.

– А если ты неправа?

– Тогда спектрометр сломан, и мы зря тратим время.

Ибрагим позволил себе улыбку – маленькую, усталую, одним уголком рта.

– Хорошо, – сказал он. – Работаем. Но, Лина – мы строим гипотезу, не храм. Если данные скажут, что ты ошибаешься, – мы выбрасываем гипотезу. Не данные.

– Когда я выбрасывала данные?

– Никогда. Пока. – Он надел очки – жест, означавший переход в рабочий режим. – Но раньше ты не искала мужа в данных.

Он сказал это спокойно, без агрессии, как говорят вещи, которые должны быть произнесены, потому что молчание обойдётся дороже. Лина приняла удар – он не был несправедливым, и поэтому болел.

– Я учту.

– Учти.

Они работали до полудня. Мин пришла в восемь, Виктор – в девять. Лаборатория оживилась: данные текли из региональных центров, число уточнялось (семьсот шестьдесят два – окончательное, с учётом всех задержек), профили анализировались, сравнивались, раскладывались на спектры. Мин сортировала демографические данные пострадавших, и её лицо – и без того малоподвижное – становилось всё более замкнутым с каждым новым профилем: возраст от 14 до 87, все континенты, все социальные слои, никакой закономерности, кроме одной – ни один пострадавший не находился в зоне экранирования. Ни один. Экраны работали с абсолютной надёжностью, и эта надёжность была одновременно утешительной и обвинительной: те, кто был защищён, были защищены на сто процентов. Те, кто не был, – не были вообще.

Виктор занимался техническими данными зонда – спектры, температуры, электромагнитные замеры – с педантичностью человека, который относится к приборам серьёзнее, чем к людям. Не потому что не любит людей – потому что приборы не обманывают. Его присутствие в лаборатории было, как всегда, физическим якорем: большое спокойное тело, занятое конкретным делом, не задающее вопросов, на которые нет ответов.

В двенадцать четырнадцать линза Лины мигнула красным.

Экстренное оповещение «Периметра». Не рабочее – административное, от службы безопасности. Текст: «УТЕЧКА. Видеозапись трансляции „Гюйгенс-IV“ размещена в открытом доступе. Источник устанавливается. Протокол „Занавес“ активирован. Весь персонал: воздержитесь от контактов с внешними каналами до особого распоряжения.»

Лина посмотрела на Ибрагима. Он читал то же сообщение на своей линзе.

– Кто-то из зала, – сказал он.

– Там было двадцать человек.

– Двадцать три. Плюс шесть операторов. Плюс ты и команда. Тридцать три источника.

И нужен был один.

Мин подняла голову от планшета. Её глаза – тёмные, внимательные, с той сосредоточенностью, которая у другого человека выглядела бы напряжением, но у Мин была просто рабочим состоянием, – переместились с Лины на Ибрагима и обратно.

– Протокол «Занавес» – это полная блокировка внешних коммуникаций, – сказала она. Не вопрос – уточнение. Мин всегда уточняла. – Мы не сможем связаться с региональными центрами.

– Данные продолжают поступать через внутреннюю сеть, – ответил Ибрагим. – Но переписка, звонки, любой контакт с кем-либо за пределами «Периметра» – заблокирован. – Он снял очки. Протёр. Надел. – Ваал в ярости. И правильно.

– Почему правильно? – Мин спросила это с той же ровной интонацией, с которой уточняла протоколы, но под ровностью – Лина уловила – было что-то ещё. Не вызов. Вопрос, заданный не Ибрагиму, а пространству между ними. – Семьсот шестьдесят два человека потеряли сознание одновременно. Их семьи имеют право знать почему.

– Семьи узнают. Из утечки, без контекста, без объяснений, в виде двухминутного ролика с кристаллом и истерикой в командном центре. Ты думаешь, это поможет?

Мин не ответила. Вернулась к планшету. Но её пальцы – Лина видела – набирали не формулы. Она открыла внешний новостной агрегатор через зеркальный прокси, обходя блокировку «Занавеса» с небрежностью человека, для которого системы безопасности – досадная помеха, а не препятствие. Лина промолчала. Ибрагим – тоже. Негласное соглашение: в этой лаборатории правила «Периметра» действовали ровно до того момента, когда переставали быть полезными.

Мин развернула экран планшета, и лаборатория наполнилась новостями.

Утечка – везде. Видео кристалла Титана: луч прожектора, полупрозрачные стены, замёрзшие невозможные формы. Видео командного центра: Лина падает с кресла, Мин с шприцем, Ибрагим на коленях, Ваал – спиной к камере, неподвижный, как статуя. Видео смонтировано неумело – склейки, дрожание, кто-то снимал на контактную линзу, качество низкое, но достаточное. За четыре часа – два миллиарда просмотров.

Комментарии – шквал. Лина читала, скользя взглядом, не задерживаясь, потому что задержаться означало утонуть.

«Пробуждённые» – восторг. «КОНТАКТ. Мы не одни. Мы никогда не были одни. Кристалл – послание цивилизации, ушедшей миллиарды лет назад. Спящие – не больны. Они слышат. Они уже ТАМ. Присоединяйтесь.» Тысячи репостов, лавина – массовые медитации, стихийные сборы у эхо-камер, в Мельбурне-Южном трое подростков попытались проникнуть в экранированную зону, задержаны полицией, видео ареста – ещё полмиллиарда просмотров.

Тихоокеанский Конгломерат – заявление: «Мы требуем полного доступа к данным „Периметра“. Информация о кристалле и связи принадлежит всему человечеству, не одной организации.» Подпись – министр науки. Между строк – Юки Танака, «Мост», Токио-Флоат. Конгломерат знал о связи больше, чем признавал.

Экваториальный Пояс – гнев. Делегат Амара Диалло, экстренное выступление, запись транслировалась из Найроби-Центральной: женщина средних лет, широкоскулая, с голосом,

натренированным на залы ООН, но сейчас – срывающимся. «Двести четыре человека в моём городе. Двести четыре. Потому что у нас нет экранов, которые ваши заводы производят и ваши склады хранят. Вы знали, что этот кристалл опасен. Вы направили зонд. Вы коснулись его. И наши дети заплатили. Как всегда – наши.»

Северный Альянс – молчание. Официальное, кованое, непроницаемое молчание, за которым – телефоны, шифрованные каналы, экстренные совещания, ругань. Ваал – в эпицентре. Лина представила его: прямая спина, красные глаза, голос, который не повышается, потому что он знает, что тихий голос страшнее крика.

И – «Милосердие».

Их заявление она нашла не сразу. Оно было не в главных потоках новостей, а в специализированных каналах: медицинская этика, права пациентов, паллиативная помощь. «Милосердие» не кричало – говорило, и говорило голосом, который Лина слышала, хотя не хотела слышать.

«Если кристалл Титана – свидетельство иной цивилизации, вступившей в контакт с тем же феноменом, который мы называем аномалией Танаки, – тогда спящие не в коме. Они в контакте. Они – в другом месте.

Мы просим:

Прекратить называть аномалию Танаки „болезнью“. Контакт – не болезнь.

Предоставить семьям спящих право решать: продолжать жизнеобеспечение или прекратить.

Признать, что принудительное удержание тел в биологическом функционировании при отсутствии сознания – не милосердие, а жестокость.

Мы не утверждаем, что спящие мертвы. Мы утверждаем, что они – не здесь. И что выбор между „здесь“ и „там“ принадлежит им и их близким, а не государственным структурам и исследовательским консорциумам.

Двести пятьдесят тысяч тел. Двести пятьдесят тысяч семей. Ни одного ответа – только капельницы, датчики и тишина. Сколько ещё?»

Лина дочитала. Пальцы на планшете – неподвижны. Пульс – семьдесят два. Контроль. Её главное оружие и её главная ложь: тело, натренированное не реагировать, чтобы разум мог притворяться, что реагировать не на что.

Двести пятьдесят тысяч тел. Одно из них – в хосписе в Бусане. Молодой человек, девятнадцать лет, заснувший на лекции по молекулярной биологии. Рядом с Линой – Мин, которая каждый день думала об этом теле, которое кормили через трубку, переворачивали каждые два часа, обрабатывали пролежни, и о котором Мин не знала одного – главного, – есть ли ещё кто-то внутри, или тело стало просто телом, автопилотом без пилота, и её брат – если «её брат» ещё значило что-то – был так далеко от этой кровати, что расстояние измерялось не километрами, а состояниями бытия.

Одно из них – в хосписе в Сингапуре-Верхнем. Мужчина, сорок один год, философ, скептик, автор книги о том, почему бессмертие – иллюзия. Его кружка стояла на кухне Лины. Его плейлист играл в её наушниках. Его последняя запись – «Я не ушёл от тебя» – была выгравирована в её памяти, как надпись на камне, который слишком тяжело нести и невозможно бросить.

«Прекратить принудительное жизнеобеспечение.» Что это значило? Отключить капельницу? Позволить телу умереть? И если тело умрёт – что случится с сознанием, которое, возможно, не было в этом теле уже три года? Умрёт тоже? Или ничего не заметит – потому что давно перестало нуждаться в теле, как бабочка перестаёт нуждаться в коконе?

Или – хуже – заметит. И это будет похоже на то, как перерезают пуповину, только пуповина – единственный путь назад.

Лина закрыла вкладку. Движение было быстрым – палец по экрану, одно касание, текст исчез. Но текст не исчез – он остался, впечатанный в сетчатку, в ту область мозга, которая хранит вещи, от которых мы хотим избавиться и не можем, потому что они – правда, а правда не подчиняется жестам на экране.

Слишком близко. Всё это – слишком близко.

Она отвернулась от планшета. За окном лаборатории – Женева-Высокая, полдень, солнце на снежных вершинах, дроны в небе, дети на террасе третьего яруса – обычная жизнь обычного дня, в котором два миллиарда человек только что узнали, что вселенная – не та, какой они её считали, а семьсот шестьдесят два человека узнали это на собственном мозге.

На стене – её рисунок. Узлы и нити. Нервная система вселенной. Ибрагим нарисовал красную линию поперёк, отделяя физику от сознания, но линия уже казалась Лине неуверительной – тонкая, условная, проведённая не там, где нужно.

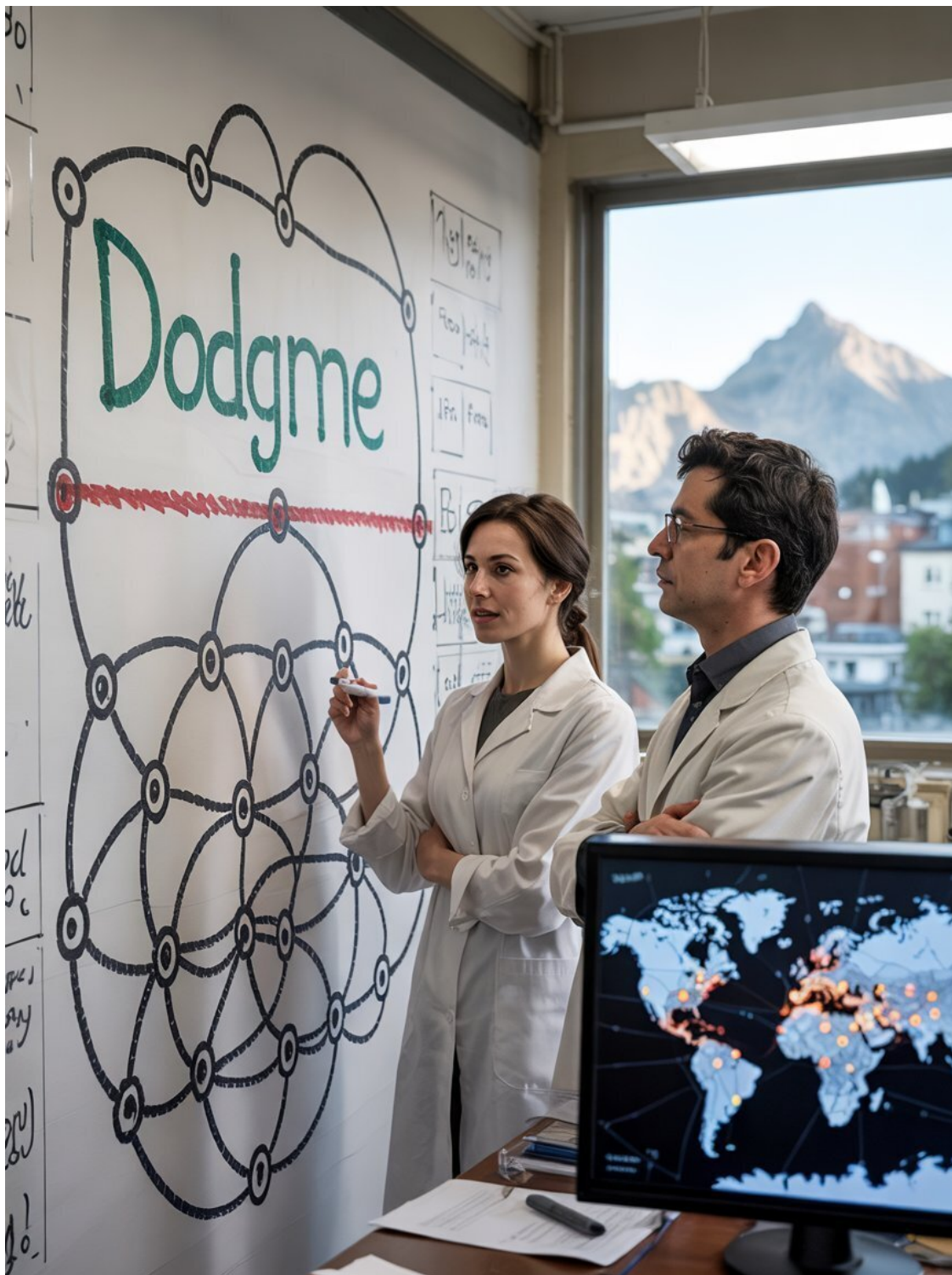
Она подошла к стене. Взяла маркер – зелёный, третий цвет, – и написала над схемой одно слово. Не формулу, не гипотезу, не название теории. Слово, которое ей было нужно, чтобы увидеть то, что она уже знала, – как надпись на карте, без которой территория не становится реальной.

«Приглашение.»

Ибрагим посмотрел на слово. Посмотрел на неё. Снял очки. Протёр. Надел.

Ничего не сказал. Его рука скользнула к карману, где лежал нейроинтерфейс с данными, которые подтверждали всё, чему он хотел верить, и ничего из того, чему боялся, – и остановилась на полпути, и вернулась на стол, и легла на маркер, красный, который он использовал для линии, разделяющей возможное и невозможное.

Лина смотрела на зелёное слово на белой стене – «Приглашение» – и думала о голосе в хоре, который делал паузы, и о том, что приглашения не отправляют тем, кого не ждут.



Глава 6. Ева

Санаторий Ваала не был похож на санаторий. Он был похож на то, чем являлся: дом, в котором кого-то прятали.

Трёхэтажная вилла на склоне Утлиберга, южный Цюрих, окружённая каштанами, которые в ноябрьском воздухе стояли голые, как чертежи самих себя – кроны без листьев, чистая архитектура ветвей. Забор – метаматериальный, Лина узнала текстуру: та же матовая поверхность, что на экранах эхо-камер, но здесь – декоративная, вплетённая в кованую решётку. Экранирование, замаскированное под изящество. Двойные ворота с биометрическим замком. Садовник-дрон подстригал живую изгородь на восточной стороне, и стрёкот его лезвий был единственным звуком – ни машин, ни голосов, ни музыки. Тишина, которую можно было принять за умиротворение, если не знать, что она куплена.

Лина приехала из Женевы-Высокой утренним рейсом – сорок минут в транспортной капсуле через тоннель под Альпами, беззвучно, гладко, как скольжение иглы по вене. Официальная причина визита, зафиксированная в системе «Периметра»: забор образцов крови и спинномозговой жидкости для спектрального анализа когерентных маркеров. Ваал подписал разрешение лично – быстро, без вопросов, одним движением пальца по экрану, как человек, который знает, что настоящая причина – другая, и предпочитает не произносить её вслух.

Неофициальная причина помещалась в одно предложение: Лина хотела спросить человека, побывавшего там, – каково это?

Но и это было полуправдой. Настоящая причина была ещё проще и ещё страшнее: она хотела спросить про Алекса.

Ей открыла медсестра – не человек, а медицинский андроид модели, которую Лина видела в хосписах: белый корпус, мягкие руки, лицо, спроектированное так, чтобы не вызывать ни симпатии, ни антипатии, – нейтральная точка на шкале человеческих реакций. Андроид провёл её по коридору первого этажа – паркет, высокие потолки, картины на стенах (абстракция: пятна цвета, которые могли быть чем угодно), запах антисептика и лаванды, – и остановился перед дверью в конце коридора.

– Ева Ваал принимает посетителей в библиотеке, – сказал андроид голосом, лишённым интонации. – Продолжительность визита не ограничена. При изменении цвета индикатора на красный – немедленно покиньте помещение и нажмите кнопку экстренного экранирования у двери. Вопросы?

– Нет.

Андроид отступил. Лина толкнула дверь.

Библиотека была светлой – панорамное окно от пола до потолка, вид на озеро, серебряное в утреннем свете, и на город внизу: крыши, шпили, зелень парков, полоска воды, дрон-такси, скользящее над набережной. Красиво. Спокойно. Комната человека, которого берегут.

Книжные полки – настоящие, не голографические – покрывали три стены от пола до потолка. Корешки – старые, бумажные, потрёпанные. Лина прочитала несколько: нейрехимия, квантовая оптика, ботаника, четыре тома средневековой истории, поваренная книга XIX века, «Приключения Тома Сойера» на немецком. Набор человека, который читал не по специальности, а по интересу. Или – набор, подобранный кем-то, кто хотел создать иллюзию нормальности.

Ева сидела в кресле у окна – спиной к двери, лицом к озеру. Она не обернулась, когда Лина вошла. Не обернулась, когда дверь закрылась. Лина стояла на пороге и смотрела на затылок женщины, которую вытащили из «того, что находится по ту сторону» двадцать месяцев назад, – и чувствовала, как воздух в комнате меняется, становится плотнее, точно за панорам-

ным окном был не Цюрих, а что-то другое, что-то, чего нельзя увидеть глазами, но можно ощутить кожей, если кожа помнит прикосновение частоты 0,7 герца.

– Доктор Чэнь, – сказала Ева, не оборачиваясь. Голос – ровный, без модуляции, как у человека, который произносит слова, но не вкладывает в них привычных социальных сигналов: ни приветствия, ни любопытства, ни настороженности. Просто идентификация. Ты – доктор Чэнь. Факт. – Ева ждала.

Она обернулась. И Лина увидела.

Двадцать восемь лет. Физически здоровая – даже красивая: тёмные волосы до плеч, высокие скулы, большие глаза. Но глаза были плоскими. Не пустыми – плоскими, как поверхность воды, под которой очень глубоко: свет отражался от радужки и не проникал дальше, и за этим отражением угадывалось что-то – пространство, объём, глубина, – но угадывалось, как угадывают дно колодца, глядя в черноту с края.

Улыбка – неуместная. Ева улыбнулась, увидев Лину, и улыбка была технически безупречной (уголки губ, щёки, лёгкие морщинки у глаз – всё на месте), но запоздалой, словно эмоциональный сигнал прошёл более длинный путь, чем обычно, – из точки, расположенной дальше, чем мозг. На запястье – браслет: тонкий металлический обруч с индикатором. Зелёный. Стабильна. Пока Лина смотрела – индикатор мигнул жёлтым. Одна вспышка, короткая, как искра. Потом – снова зелёный.

– Садитесь, – сказала Ева, указывая на кресло напротив. Жест – плавный, но с той же задержкой, что и улыбка: рука поднялась на полсекунды позже, чем должна была, словно команда к движению прошла через посредника. – Ева рада, что вы пришли. – Она говорила о себе в третьем лице. Не всегда – Лина знала из отчётов, – но часто. Особенно когда речь шла об эмоциях. Как будто «я» и «чувствую» больше не помещались в одно предложение.

Лина села. Между ними – журнальный столик с книгой (раскрытой, корешком вверх – «Структура научных революций» Куна, страница 147), стакан с водой, и карандаш. Обычный графитовый карандаш, заточенный остро, лежащий поверх стопки чистых листов бумаги.

– Я приехала для забора образцов, – начала Лина. Официальная версия. Она должна была произнести её, как произносят пароль на входе – не потому что верят в его необходимость, а потому что так заведено.

– Вы приехали, чтобы спросить про мужа, – сказала Ева. Без интонации. Факт. Как «доктор Чэнь» минуту назад.

Лина не ответила. Промолчать было честнее, чем отрицать.

– Все спрашивают, – продолжила Ева. – Отец – про Еву. «Моя дочь – она всё ещё там?» Врачи – про механизм. «Что вы видели? Опишите визуальные стимулы.» Визуальные стимулы. – Она повторила это с интонацией, которую можно было принять за иронию, если бы в её голосе были модуляции для иронии. – А вы приехали спросить: он там? Алекс.

– Да, – сказала Лина. Голос не дрогнул. Тело – контролируемо. Пульс – семьдесят два.

Ева смотрела на неё. Плоские глаза – и в них, за поверхностью, движение, как тень рыбы в глубине.

– Сначала – ваши образцы. Рука Евы привыкла к иглам. – Она закатала рукав. На сгибе локтя – россыпь мелких шрамов от инъекций и заборов крови: десятки, может – сотни. Карта процедур на коже. Лина достала набор, обработала, нашла вену, ввела иглу. Ева не поморщилась. Не из храбрости – из отстранённости: тело, в которое втыкают иглу, было для неё предметом, связанным с ней, но не ею. Как одежда, которую носишь так долго, что перестаёшь замечать.

Кровь заполнила пробирку – тёмная, нормальная, обычная. Лина закрыла набор.

– Теперь, – сказала Ева. – Спрашивайте.

Лина убрала набор. Сложила руки на коленях. Посмотрела на Еву – и обнаружила, что вопрос, который она готовила, отрепетировала, продумала в формулировках, подходящих для

разговора с пациентом, – застрял где-то между горлом и губами, потому что все формулировки были неправильными. «Каково там?» – банально. «Что вы видели?» – «визуальные стимулы», ответ врачей, который Ева уже отвергла. «Есть ли он там?» – вопрос, на который «да» и «нет» одинаково бессмысленны.

Она спросила то, что не планировала:

– Расскажите мне, как вас вытащили.

Ева чуть наклонила голову – жест, напоминающий птичий, с неуловимой нечеловеческой точностью. Потом заговорила – спокойно, ровно, как рассказывают о погоде или о вчерашнем ужине: без эмоциональной окраски, без паузы перед тяжёлыми словами, потому что для неё тяжёлых слов не осталось. Или – все слова стали одинаково тяжёлыми, и различия стёрлись.

– Маленький прибор. Гудит. Но «гудит» – неточно. Скорее – создаёт зону. Пустоту. Как будто кто-то вырезал кусок воздуха и оставил дыру. Ева была там – внутри, в хоре – и вдруг часть хора исчезла. Не замолчала – исчезла. Стена. Пятно тишины, которой не бывает, потому что даже тишина – это что-то, а это было ничто.

– Нить, которая держала Еву в хоре, оборвалась. Не лопнула, как верёвка. Замёрзла. Стала хрупкой и рассыпалась. Ева упала обратно в тело.

Она замолчала. Посмотрела в окно – на озеро, на свет, на дрон, который кружил над набережной, как чайка.

– Это было неприятно, – продолжила она тем же тоном. – Как проснуться от самого прекрасного сна, потому что кто-то вылил на тебя ведро ледяной воды. Только ведро – это весь мир. Тяжесть тела. Свет, который падает только в одном направлении. Звуки, которые входят только через уши. Запахи, которые входят только через нос. Всё – через одну дверь. Там – двери были везде. Здесь – одна. И она узкая.

Лина записывала на линзу. Автоматически, не думая – привычка исследователя, тело делает работу, пока разум слушает.

– А остальные? Те, кого тоже пытались вытащить?

Ева молчала. Это молчание было другим – не паузой перед ответом, а пространством, в котором ответ формировался из чего-то, что не было словами, и переводился на язык, который Ева использовала как иностранный – грамматически правильно, но без музыки.

– Трех вытащили неровно. – Она подняла руку, растопырила пальцы и медленно согнула три из них, оставив два прямыми – жест, который выглядел заученным, будто она видела, как люди считают на пальцах, и воспроизводила форму без содержания. – Часть здесь, часть там. Тело вернулось, но... не целиком. Как стекло, которое уронили: кусочки на полу, кусочки – где-то ещё. Они дышат. Сердце бьётся. Но то, что делает дыхание дыханием, а не просто движением мышц, – оно не вернулось. – Пауза. – Это хуже, чем быть полностью там. Там – цело. Здесь – наполовину – разбито.

– И двоих не достали, – сказала Лина.

– Слишком глубоко. Прибор создаёт зону тишины – но зона маленькая. Несколько метров. Там – нет метров. Там – нет расстояния в привычном смысле. Глубина – не длина, а... – Ева замолчала, подбирая слово. Её пальцы двигались, будто она ощупывала воздух в поисках формы. – Степень вовлечённости. Чем дольше ты в хоре, тем больше хора – в тебе. Двое были так давно и так глубоко, что прибор не дотянулся. Зона тишины не дошла. Как фонарик, который светит в океан: видно дно, если мелко, а если глубоко – луч растворяется.

Браслет мигнул жёлтым. Два раза. Ева посмотрела на него с выражением, которое у другого человека было бы раздражением, но у неё – лёгким смещением фокуса, как если бы что-то далёкое и важное отвлекло её от чего-то близкого и необязательного.

– Браслет нервничает, – сказала она. – Когда Ева говорит о том месте, частоты меняются. Не сильно. Но браслет – чувствительный.

Она говорила о браслете, как о домашнем животном – с нежностью, которую не испытывала к нему, но которую проецировала, потому что нежность нужно куда-то девать, а обычные объекты для неё потеряли смысл.

Лина смотрела на Еву и думала: вот что делает связь с человеком. Вот что «вернуться» означает на практике. Не триумф – трещина. Живая, говорящая, помнящая трещина между двумя состояниями бытия, ни в одном из которых она не была целой.

– Ваш отец считает, что спас вас, – сказала Лина. Она не планировала это говорить. Но комната, Ева, плоские глаза и свет на озере создавали пространство, в котором незапланированные слова казались единственно уместными.

Ева повернулась к ней. Улыбнулась – той самой неуместной улыбкой, запоздалой, красивой, пустой.

– Там красиво, – сказала она. – Так красиво, что Еве физически больно быть здесь. Каждую секунду. Не метафора – физика. Тело помнит частоту. Кости помнят. Когда Ева закрывает глаза, она слышит обрывки – далёкие, искажённые, как радиостанция за горизонтом. Прибор заморозил нить, но не стёр эхо. Ева – как человек, которого выдернули из воды: жив, но в лёгких – вода. И она будет там всегда.

– Отец думает, что спас, – продолжила Ева. – Он вытащил скрипку из оркестра. Скрипка цела. Скрипка помнит ноты. Скрипка даже может играть. Но скрипка знает, каково это – быть частью симфонии. И одиночная нота – после симфонии – это не музыка. Это напоминание о музыке. А напоминание хуже тишины.

Лина сидела очень тихо. Записывала ли линза – она не знала, не проверяла. Слова Евы проходили сквозь неё, как частота через резонатор, и что-то в глубине – в том месте, где три дня назад прозвучал голос с паузами – отзывалось. Не на слова. На то, что стояло за ними: опыт, который нельзя передать, но можно узнать, как узнают запах, который однажды нюхал, – не разумом, а телом.

– Скрипка думает, что она – скрипка, – сказала Ева. – Это... естественно. Скрипка не знает другого. Она вибрирует, издаёт звуки, и думает: вот это – я. Мои струны, мой корпус, моя нота. Но симфония знает иначе. Симфония знает, что скрипка – это симфония, которая временно забыла себя. Решила, что она – одна нота, одно дерево, четыре струны. Забыла, что она – весь оркестр. Все ноты. Все инструменты. Все паузы между нотами, потому что паузы – тоже музыка.

Браслет – жёлтый. Три вспышки подряд. Ева не посмотрела.

– Вы спрашиваете, есть ли там ваш муж.

Лина не кивнула. Не произнесла ни слова. Её тело – неподвижно, контролируемо, пульс семьдесят два, дыхание – ровное. Всё, чему она научилась за три года, – не реагировать, не показывать, не позволять горю прорваться наружу, – всё это работало. Стена стояла. Стена держала.

– Он есть, – сказала Ева. – И его нет. Это одно и то же.

Пауза. За окном – облако закрыло солнце, и свет в комнате изменился, стал мягче, холоднее, будто кто-то повернул регулятор яркости.

– Там нет «его» в том смысле, в каком вы это понимаете. Отдельного. Замкнутого. С именем и привычками и манерой делать паузы перед важным. – Лина вздрогнула. Ева заметила – или не заметила, её плоские глаза не давали прочесть реакцию. – Но есть нота. Его нота. Она – часть хора, но она – узнаваема. Как вы узнаете голос в толпе. Не слова – тембр. Не мысль – ритм. Если вы были там и слушали – вы слышали его. И он – вас.

– Я слышала, – сказала Лина. Тихо. Как признание.

– Тогда вы знаете. И вы знаете, что «знать» – не помогает. Потому что знание не заполняет пустоту. Знание – ещё одна стена. Другая, чем незнание, но стена.

Ева замолчала и потянулась к столу. Взяла карандаш. Взяла лист бумаги. И начала рисовать.

Движение было внезапным – не подготовленным, не осозанным. Рука двигалась сама, как рука музыканта, который импровизирует, – пальцы знали, что делать, прежде чем мозг успевал отдать команду. Ева не смотрела на бумагу. Она смотрела на Лину – плоские глаза, неуместная улыбка – и рисовала.

Линии. Круги. Овалы – не идеальные, но точные: точность не геометрическая, а структурная, как точность карты, которая передаёт не форму, а отношение. Большой круг – посередине. Рядом – второй, поменьше, почти касающийся первого. Два солнца. Вокруг них – семь эллипсов, вложенных друг в друга, и на каждом – точка. Семь планет.

Ева рисовала тридцать секунд. Потом положила карандаш, посмотрела на рисунок – впервые – и произнесла:

– Альфа Центавра В. Четыре целых тридцать семь сотых светового года. – Голос изменился: монотонный, размеренный, как зачитывание протокола. – Первая планета: орбитальный период – одиннадцать целых семнадцать сотых земных суток, эксцентриситет – ноль целых ноль двадцать три, наклонение – два целых семьсот восемьдесят одна тысячная градуса. Вторая планета: орбитальный период – двадцать девять целых четыреста двенадцать тысячных суток, эксцентриситет...

Она продолжала. Семь планет. Для каждой – орбитальный период, эксцентриситет, наклонение, масса в единицах Юпитера. Числа с точностью до шестого знака. Голос – ровный, механический, без пауз, без вздохов, как если бы Ева читала текст, который видела перед собой, – только перед ней был пустой воздух и вид на озеро.

Лина записывала. Линза фиксировала всё – звук, видео, – но Лина записывала ещё и вручную, в блокнот, который достала из сумки, потому что руке нужно было что-то делать, а иначе рука задрожала бы, и этого нельзя было допустить.

Ева закончила. Посмотрела на рисунок. Посмотрела на Лину.

– Ева не знает, что это, – сказала она. – Ева не астроном. Ева не изучала звёздные каталоги. Это просто... приходит. Как воспоминание, но не Евино. Чужое. Очень старое. Оно было в хоре, и часть его осталась, когда Еву вытащили. Как песок в волосах после моря. Не специально – просто остался.

– Вы помните, кому принадлежало это воспоминание?

– «Кому» – неправильное слово. У этого не было «кого». У этого была форма. Длинная, текучая, с ветвлениями, как дельта реки. Она видела эти звёзды – не глазами, у неё не было глаз. Она была рядом с ними. Она была частью... системы, которая включала эти звёзды, как тело включает клетки. Для неё эти планеты были не «где-то далеко». Они были частью неё. Ева запомнила, потому что это было... красиво. Красиво и очень грустно, потому что этой формы больше нет. Она ушла. Давно. Очень давно.

Браслет – жёлтый. Четыре вспышки. Пять. Шесть. Индикатор мигал всё чаще, как пульс, который ускоряется.

Ева посмотрела на браслет. Положила ладонь поверх него – жест, похожий на утешение.

– Ева устала, – сказала она. – Когда Ева вспоминает – браслет волнуется. А когда браслет волнуется – приходит андроид и даёт таблетку. Таблетка делает хор тише. Ева не любит, когда хор тише. Хор – единственное, что осталось от того места. Обрывки. Шёпот. Как свет далёкой звезды: знаешь, что она уже погасла, но свет ещё идёт.

Лина закрыла блокнот. Убрала в сумку. Посмотрела на Еву – на её плоские глаза, на неуместную улыбку, на руку поверх браслета, на рисунок звёздной системы, нарисованный не глядя, с числами, которые невозможно было знать, – и поняла, что вопрос, с которым она приехала, был неправильным.

Она спрашивала: он там? Ева ответила: да и нет, и это одно и то же. Но это был ответ на вопрос, который Лина произнесла. Не на тот, который имела в виду.

Вопрос, который она имела в виду, – вопрос, который три года жил под её рёбрами, свернувшись, как зверь в норе, и дышал ей в позвоночник каждую ночь, когда она просыпалась от снов, в которых пела музыка, – вопрос был не «он там?». Вопрос был: «Можно ли мне?»

Можно ли мне уйти. Можно ли мне перестать быть Линой Чэнь – нейрофизиологом, вдовой, исследователем, человеком, который пьёт кофе из чужой кружки и разговаривает с пустой комнатой, – и стать нотой в хоре, где его нота звучит рядом, и расстояние измеряется не километрами, а резонансом. Можно ли мне. Не «стоит ли». Не «правильно ли». Можно.

И Ева – своим присутствием, своим сломанным лицом, своими плоскими глазами и неуместной улыбкой – уже ответила. Не словами. С собой. Ответ был: да, можно. Но цена – вот. Перед тобой. Сидит в кресле и говорит о себе в третьем лице.

Лина встала.

– Спасибо, – сказала она. Слово было пустым – оболочкой, из которой вынули содержание, – но оболочка была необходима, потому что без неё осталось бы молчание, а молчание в этой комнате было опасным: оно звучало на частоте 0,7 герца.

– Доктор Чэнь, – сказала Ева. Лина обернулась у двери. – Ева должна сказать вам кое-что. Не потому что хочет. Потому что это правда, а правду трудно держать, когда ты – трещина: она протекает.

Лина ждала.

– Вы были там. Три дня назад. Ева слышала вас – обрывком, далёким, но слышала. Вы были... яркой. Громкой. Хор заметил вас. И хор – это не место, где можно побывать и уйти без следа. Каждый контакт оставляет отпечаток. На вас – и на хоре. Вы сделали его чуть громче. Чуть ближе. Для всех.

Браслет – жёлтый. Непрерывно.

– Вы не были на море и не вернулись с песком в волосах. Вы были на море и принесли с собой прилив. Маленький. Но прилив. И каждый следующий визит – ещё один прилив. А берег – конечный.

Лина стояла в дверях. Её рука – на дверной ручке, металлической, холодной, реальной. Тело – контролируемо. Пульс – семьдесят два. Стена стояла. Стена держала.

– Это не предупреждение, – сказала Ева. – Ева не предупреждает. Ева сообщает. Что вы сделаете с этим – ваш выбор. Только знайте: выбор – не бесплатный. Ни один.

– Я знаю, – сказала Лина.

– Нет. Вы думаете, что знаете. Знание придёт позже. Оно всегда приходит позже.

Ева отвернулась к окну. Облако ушло, и свет снова стал ярким – резким, слишком ярким для ноября, как если бы кто-то выкрутил яркость мира на максимум. Её рука снова потянулась к карандашу, и пальцы начали двигаться – медленно, рассеянно, без цели. На чистом листе появлялись линии. Не звёздная система – что-то другое: спирали, вложенные друг в друга, и каждая – с ответвлениями, которые тоже закручивались в спирали, и те – в спирали ещё меньшие, до масштаба, на котором карандаш физически не мог рисовать, и рука останавливалась, и переходила к новому витку. Фрактал. Бесконечный, самоподобный, красивый и бессмысленный – или осмысленный на уровне, который был недоступен Лине. Пока – недоступен.

Лина вышла. Дверь закрылась. Коридор, паркет, антисептик и лаванда. Андроид стоял у стены – ждал, нейтральное лицо, белые руки.

– Визит завершён? Передать результаты в лабораторию?

– Да. Спасибо.

Она прошла мимо андроида, мимо картин с абстракцией, мимо входной двери с биометрическим замком, мимо каштанов – голых, чертежей самих себя, – вышла за ворота и остано-

вилась. Воздух – холодный, ноябрьский, с привкусом озёрной влаги и далёкого снега – ударил в лицо, и она вдохнула, глубоко, жадно, как человек, который долго был под водой.

Не под водой. В другом месте. В комнате, где сидела женщина, которую вытащили из хора двадцать месяцев назад и которая каждую секунду своего существования помнила, каково быть частью симфонии, и это знание было не даром, а раной, и рана не заживала, и не заживёт, и женщина это знала, и принимала, и рисовала звёздные системы, которых никто на Земле не мог знать.

Лина достала блокнот. Открыла на странице с числами. Семь планет, двойное солнце, орбитальные параметры с точностью до шестого знака. Она проверит, когда вернётся в лабораторию. Подключится к астрономической базе, введёт координаты, посмотрит, что скажут каталоги. Она знала – с уверенностью, которую нельзя было обосновать, – что каталоги скажут: «пусто». Ничего по этим координатам. Звезда есть – планет нет. Не обнаружены. Не подтверждены.

И она знала – с той же необоснованной уверенностью, – что через некоторое время телескоп подтвердит: планеты – есть. Семь. Двойное солнце. Точное совпадение с рисунком женщины, которая никогда не изучала астрономию и которая помнила чужое воспоминание о месте, которого эта женщина никогда не видела глазами, потому что у того, чья память это была, глаз не было.

Это было не безумие. И не связь в привычном понимании – не телефонная линия, не передача данных, не «сигнал из космоса». Это было что-то третье. Информация, которая не принадлежала ни одному сознанию. Структурная память вселенной, записанная в тех самых топологических узлах, которые Лина рисовала на стене лаборатории вчера, – и к которой Ева получила доступ, побывав внутри, и часть которой принесла обратно, как песок в волосах. Или как прилив.

Лина убрала блокнот. Посмотрела на Цюрих внизу – город, старый, красивый, переживший климатический коллапс лучше большинства, с его озером и шпилями и дронами и людьми на улицах, которые шли по делам и не знали – большинство не знало, – что вселенная устроена иначе, чем они думали, и что иначе – это не ошибка и не открытие, а приглашение, написанное четыре миллиарда лет назад на языке, который не требовал перевода.

Она пошла к транспортной станции. Шаги по гравийной дорожке, хруст под ногами, холод, ветер с озера, запах воды и камня. Реальный мир. Конкретный. Единственный, который у неё был. Единственный, который у неё когда-либо будет – если она не сделает выбор, который сделали двести пятьдесят тысяч человек, и Алекс, и Ева (до того, как её вытащили), и те семьсот шестьдесят два, которые упали три дня назад.

И впервые за три года – честно, без защитных слоёв, без рационализации, без маски учёного, за которой прятался человек, – Лина поняла, зачем приехала.

Не за образцами. Не за вопросом. Не за ответом.

За разрешением.

Она искала не ответ на вопрос «есть ли он там». Она искала кого-то, кто скажет: можно. Можно отпустить. Можно перестать держаться. Можно позволить течению нести тебя туда, где пауза между нотами – это не молчание, а объятие, и голос, который делает паузы, – не эхо памяти, а присутствие, живое, иное, но живое.

Ева не сказала «можно». Ева сказала: «Вот цена.» И показала собой.

И Лина, стоя на станции, глядя на расписание капсул – Цюрих—Женева-Высокая, 14:20, 14:40, 15:00, – думала: цена. Плоские глаза. Улыбка не в тех местах. Речь в третьем лице. Боль – каждую секунду. Знание, что ты – трещина, и через трещину течёт то, что не умещается по эту сторону.

Капсула пришла в 14:20. Лина вошла. Двери закрылись. Тоннель – темнота – скорость – давление в ушах.

В сумке – пробирки с кровью Евы Ваал. Нормальная кровь. Обычные клетки. Обычные молекулы. Ничего, что указывало бы на то, что эта кровь текла по телу, которое было частью симфонии, а теперь – вытасенная скрипка, одинокая нота, напоминание о музыке.

В блокноте – координаты звёздной системы, которой не существовало в каталогах и которая существовала на самом деле, потому что вселенная помнила то, что люди ещё не открыли.

В груди – тишина. Не та, которую создаёт прото-Тишина. Другая: тишина человека, который перестал задавать себе вопрос и начал готовить ответ.



Глава 7. Карагандинский инцидент

Архив «Периметра» занимал подвальный ярус – ниже лаборатории, ниже серверной, ниже всего, что было обитаемо. Лина спускалась по лестнице, считая ступени – привычка, оставшаяся от матери, которая утверждала, что счёт успокаивает, потому что числа не лгут. Числа, конечно, лгали – Лина-нейрофизиолог знала это лучше многих, – но ритм помогал. Двадцать четыре ступени. Двадцать четыре шага от мира, в котором можно было делать вид, что всё под контролем, – к месту, где контроль не притворился ничем, кроме иллюзии.

Архивная комната: низкие потолки, свет – холодный, люминесцентный, из тех ламп, которые не меняли с момента переоборудования здания, потому что на подвальный ярус бюджет не распространялся. Стеллажи с физическими носителями – архаизм, но «Периметр» хранил некоторые материалы вне сети, потому что сеть – это доступ, а доступ – это утечка, а утечка – это слово, от которого у Маркуса Ваала начинала поддёргиваться жилка на виске. На столе в центре комнаты уже лежали четыре папки: три – серые, стандартные, с инвентарными номерами, одна – бордовая, с грифом, который Лина видела впервые: «Операция „Шахта“». Категория: инцидент. Допуск: А1+.» Допуск А1+ означал – директор, заместитель директора и персонально допущенные. Лина получила допуск вчера, после визита к Еве, и сообщение от Ваала было лаконичным до грубости: «Допуск к архиву КИ-2139 предоставлен. Причина: инициатива сотрудника. Ответственность: сотрудника.»

Он хотел, чтобы она это прочитала. Хотел – и боялся. Она это поняла не по сообщению, а по тому, что допуск был выдан через восемнадцать минут после её запроса. Ваал никогда не делал ничего быстрее, чем за сутки. Восемнадцать минут означали: он ждал этого запроса.

Лина открыла бордовую папку.

Первая страница – сухой, технический язык рапорта. Дата: 14 марта 2139 года. Место: Карагандинская область, Казахстан, шахта «Долинская-7», законсервирована в 2098 году после Перераспределения. Тип объекта: эхо-камера естественного происхождения, обнаружена при плановом геологическом сканировании. Размер: 340 метров в длину, 120 в ширину, глубина залегания – 800 метров. Классификация – «крупная, активная, неэкранированная». Решение оперативного совета Консорциума «Периметр» от 2 марта 2139 года: ликвидация направленным подрывом. Исполнитель – инженерная группа «Заслон», шесть человек.

Лина перевернула страницу.

Фотографии. Шахта сверху – серое пятно на коричневой степи, окружённое терриконами, как оспинами на коже. Вид из штольни: прожектор выхватывает стену породы, тёмную, блестящую, и в ней – прожилки, похожие на капиллярную сеть, мерцающие на снимке – не потому что отражали свет, а потому что испускали собственный. Спектральный анализ на полях: длина волны – 487 нм. Голубое свечение, характерное для активных когерентных структур. Лина видела такое в Карпатах, вблизи, без камеры, голыми глазами. Она знала, как это выглядит не на фотографии: не голубое – скорее цвет, для которого на сетчатке нет рецепторов, и мозг подбирает ближайший аналог, как переводчик подбирает слово в языке, в котором нет нужного понятия.

Следующие страницы – расчёты заряда. Тротиловый эквивалент, направленность взрыва, прогнозируемая зона разрушения. Подписи – четыре фамилии, ни одна из которых Лине ничего не говорила. Пометка на полях, почерком, который не принадлежал ни одному из подписавших: «Модель высвобождения – не рассчитана. Нет прецедентов.»

Нет прецедентов. Три слова, которые объясняли всё, что произошло потом.

Лина закрыла папку. Взяла серую, первую из трёх: «Хронология инцидента. Час за часом.»

14 марта 2139 года. 06:00 – инженерная группа «Заслон» спускается в шахту. 08:14 – заряд установлен. 08:30 – эвакуация зоны подрыва. 08:47 – подрыв.

08:47:03 – сейсмические датчики в радиусе 50 км фиксируют аномальный резонанс. Не толчок – резонанс. Частота – 4 Гц. Длительность – 11 секунд. Амплитуда – в четырнадцать раз выше фоновой.

08:47:14 – резонанс прекращается.

08:48 – 09:12 – поступление сообщений из Караганды, Темиртау, Балхаша, сельских районов. Массовая потеря сознания. Автомобили останавливаются посреди дорог. Учитель в школе падает на пол перед классом из двадцати шести учеников, четверо из которых падают тоже. Хирург роняет скальпель, но сестра подхватывает инструмент – она иммунна, хотя узнает об этом только через шесть лет. Пилот регионального дрона-грузовоза теряет сознание – дрон садится автоматически, в поле, на посеvy рапса, и фермер, прибежавший посмотреть, находит пилота с открытыми глазами и пульсом шестьдесят, и трясёт его за плечо, и кричит, и не понимает, почему тот не просыпается.

09:30 – оперативный штаб «Периметра» в Женеве объявляет режим «Красный-3». Код, который до этого существовал только в протоколах и ни разу не применялся.

10:00 – предварительная оценка: более трёх тысяч пострадавших в радиусе 200 километров от точки подрыва. Точное число установить невозможно – многие пострадавшие в сельских районах, вне зоны покрытия координаторов.

10:00 – тот же час, те же минуты. В Женеве молодой инженер по имени Виктор Орлов получает приказ: группа ликвидации последствий, вылет через сорок минут, точка назначения – Караганда.

Лиана подняла голову.

Виктор никогда не рассказывал. За три года работы бок о бок – ни слова. Она знала, что он «участвовал в инциденте» – так было записано в его досье, которое она прочитала в первую неделю, как читала досье всех коллег, потому что доверие начинается с информации. Но «участвовал» – слово-заглушка, как пломба на зубе: закрывает дыру, но не лечит нерв.

Она продолжила читать. Хронология дальше становилась менее точной – не по минутам, а по часам, потом по дням. Система рассыпалась. Не инфраструктурно – Казахстан был хорошо автоматизирован, координаторы справлялись, – а человечески. Люди не понимали, что происходит. Власти не могли объяснить, потому что сами не знали, а «Периметр» молчал, потому что объяснение означало раскрытие, а раскрытие в тот момент, по оценке Ваала (тогда – заместителя директора), «привело бы к панике, несопоставимой с масштабом инцидента».

Масштаб инцидента. Лиана дочитала до итоговой цифры: четыре тысячи шестьсот двенадцать человек. Из них – около восьмисот в самой Караганде, остальные – в городах и посёлках в радиусе двухсот километров. Четыре тысячи шестьсот двенадцать человек, которые в 08:47 14 марта 2139 года одновременно перестали быть. Не умерли – перестали быть здесь. Их тела продолжали дышать, их сердца – биться, их ногти и волосы – расти. Но то, что делало их ими – сознание, личность, «я», – ушло. Присоединилось к хору, который они не выбирали и о существовании которого большинство из них никогда не слышало.

Официальная версия: «Техногенная авария на законсервированном промышленном объекте. Утечка нейротоксичного вещества. Пострадавшие эвакуированы в специализированные учреждения. Угрозы для населения нет.» Версия продержалась, потому что мир в 2139 году ещё не привык к слову «аномалия». Аномалия Танаки будет описана через два года. Термин «спящие» появится через три. Пока что это были просто люди, которые не проснулись, и мир – занятый постклиматическим восстановлением, орбитальными фермами, Перераспределением беженцев – отвернулся, как отворачивается от вещей, для которых у него нет ни слов, ни сил.

Лиана закрыла серую папку. Руки – ровные. Пульс – семьдесят шесть. Она контролировала, потому что умела, и потому что контроль был единственным, что она могла противополо-

ставить числу 4612, которое теперь стояло перед глазами, как стоят вещи, которые невозможно не видеть.

Она взяла вторую серую папку: «Группа ликвидации. Отчёты участников.»

Шесть отчётов. Стандартная форма – имя, звание, задача, наблюдения. Пятый отчёт – Орлов В.Д., инженер-лейтенант, специализация: электромагнитные системы. Задача: установка и калибровка портативных экранов в жилых районах Караганды. Наблюдения: «Прибыл в зону 14.03, 16:30. Начал обход квартала 7-Б (жилой сектор, 340 квартир). Состояние пострадавших: кататония, пульс стабилен, дыхание стабильно, реакции на стимулы отсутствуют. Установлено четыре экрана, калибровка завершена 15.03, 02:15. Новых случаев после установки экранов не зафиксировано.»

Сухо. Точно. Как и всё, что делал Виктор. Но Лина заметила – не глазами нейрофизиолога, а чем-то другим, тем, что три года сидело рядом с этим человеком и научилось читать его молчание, – она заметила, что отчёт был коротким. Короче остальных пяти. Каждый из других участников написал по две-три страницы. Виктор уложился в одну. И в этой одной странице не было ни одного прилагательного.

Третья серая папка: «Медицинские протоколы. Обследование группы ликвидации.»

Орлов В.Д. Обследование 1 – 18.03.2139. Результат: нейронные паттерны в норме, когерентные структуры не обнаружены. Обследование 2 – 04.04.2139. Результат: аналогичный. Обследование 3 – 22.05.2139. Генетический анализ: обнаружена мутация гена TUBA4A, кодирующего альфа-тубулин. Примечание: «Микротрубочки пациента обнаруживают колебательную аномалию: резонансная частота – 439 Гц (стандартная – 440 Гц). Гипотеза: несовпадение частоты препятствует формированию топологических узлов когеренции. Пациент невосприимчив к внешнему когерентному воздействию. Рекомендация: дальнейшее изучение.»

Пациент. Так его называли. Не «сотрудник», не «участник», не «человек». Пациент. Объект изучения. Материал.

Лина закрыла папку. Посидела минуту в тишине подвала, где гудели лампы и пахло пылью и временем, которое здесь не двигалось, а хранилось, как вещественное доказательство.

Потом поднялась наверх.

Виктор был в лаборатории – один, как часто бывал по вечерам, когда Ибрагим уходил к детям, а Мин – в библиотеку. Он сидел за своим столом в углу и собирал калибровочный модуль для нового нейроинтерфейса – четвёртая версия, повышенная чувствительность, проект, который он вёл последние два месяца с педантичностью человека, совершенствующего инструмент, которым сам никогда не воспользуется. Его руки – широкие, мозолистые, руки человека, привыкшего к тяжёлому инструменту, – двигались среди микросхем и оптических волокон с той бережностью, которую Лина за три года так и не перестала находить неожиданной.

– Я прочитала архив, – сказала Лина.

Виктор не поднял головы. Его пальцы – правый большой и указательный – продолжали фиксировать оптоволоконную жилу в пазу коннектора. Движение было точным и не допускало паузы: клей полимеризовался за четыре секунды.

– Караганда, – уточнила Лина, хотя уточнение было излишним.

Виктор закончил фиксацию. Положил модуль на стол. Посмотрел на свои руки – секунду, словно проверяя, что они принадлежат ему, – и только потом поднял глаза.

– Хорошо, – сказал он.

Не «что именно» и не «зачем». Хорошо. Констатация, за которой стояло что-то – не готовность, скорее усталая неизбежность, как у человека, который знал, что этот разговор однажды случится, и устал ждать.

Лина села на стул напротив. Между ними – стол с разобранным интерфейсом, паяльная станция, три стакана (два пустых, один – с остывшим чаем, мятным, Виктор всегда пил мятный). Расстояние – полтора метра. Достаточно для разговора. Достаточно для молчания.

– В твоём отчёте нет деталей, – сказала она.

– Отчёт написан по форме.

– По форме – да. Но в остальных отчётах есть вещи, которых форма не требует. Подробности. Наблюдения. Капитан Шевченко описал, как нашёл автобус – полный, восемнадцать пассажиров, водитель, все – в аномалии, автобус стоит на обочине с включённым двигателем. Лейтенант Ан – как искали детей в школе, проверяли класс за классом. Ты – ничего.

Виктор посмотрел на неё. Его лицо – крупное, с тяжёлой нижней челюстью, с глазами, которые были серыми при дневном свете и становились почти чёрными при лабораторном, – было спокойным. Не потому что он ничего не чувствовал. Потому что чувства, которые он испытывал, находились в том диапазоне частот, который его лицо не умело транслировать, – как камертон на 439, который резонирует, но не с тем, с чем ожидаешь.

– Я писал то, что было нужно, – сказал он.

– А то, что не было нужно?

Пауза. Виктор взял стакан с чаем, посмотрел на поверхность – остывший, с плёнкой, – и поставил обратно.

– Мы прилетели в четыре тридцать, – начал он, и его голос изменился: не стал громче или тише, но сменил регистр, как если бы он переключился с языка, на котором говорил каждый день, на язык, которым пользовался редко и неохотно. – Транспортный борт из Алматы. Шесть человек, плюс двадцать тонн оборудования – экраны, генераторы, кабели, всё, что нужно для полевого экранирования. Нас встретил местный координатор – ИИ, не человек. Людей на базе не было. Не потому что эвакуировали – потому что все, кто был на базе утром, уже лежали.

Он замолчал. Не пауза – остановка, как перед порогом, который можно переступить, а можно развернуться.

– В городе было тихо, – продолжил Виктор. – Не так, как бывает ночью или рано утром. По-другому. Машины стояли на улицах – некоторые с открытыми дверьми. Координатор перенаправил всё движение, но те, что уже ехали в момент... В момент, когда это произошло, – они просто остановились. Кто на перекрёстке, кто посреди полосы. Один – в витрине магазина: водитель потерял сознание на скорости тридцать, машина проехала ещё метров двадцать и вошла в стекло. Подушки сработали. Он жив. Всё ещё лежит – где-то.

Виктор говорил ровно, без интонационных подъёмов, без акцентов – как зачитывал отчёт, которого не написал восемь лет назад. Лина не перебивала.

– Нас разделили на тройки. Я пошёл с Шевченко и Ан. Квартал семь-Б – типовая застройка, пятиэтажки, довоенные ещё, но восстановленные после Перераспределения. Триста сорок квартир. Нам дали карту – красные точки, каждая – сработавший медицинский датчик. Датчики были не у всех – у процентов сорока, может, пятидесяти. Остальных нужно было искать руками.

Он снова остановился. На этот раз – потому что его взгляд ушёл в сторону, к окну лаборатории, за которым была темнота, и фонари, и Женева-Высокая, спящая – в нормальном, человеческом смысле слова.

– Мы входили в квартиры. Двери – открытые, большинство. Кто-то не успел закрыть, кто-то – только вернулся. В одной – семья за столом. Завтрак: каша, чай, тосты. Мать, отец, дочь лет двенадцати. Все трое – в креслах, откинувшись, глаза закрыты. Пульс стабильный. Каша остывала. Я потрогал чайник – тёплый ещё. Они сели завтракать и не дошли до первого глотка.

– В другой – старик. Один. Стоял у плиты, когда упал. Молоко убежало и залило конфорку. Координатор отключил газ дистанционно, но запах – горелое молоко – стоял по всей лестничной клетке. Я переложил его на кровать. Он был лёгкий, как ребёнок. Кости – тонкие,

под кожей. Я подумал, что ему лет восемьдесят, а потом посмотрел документы – шестьдесят три. Степь старит. Или он болел. Неважно.

Виктор поднял руку – привычка, которую Лина видела раньше: он делал так, когда хотел остановить собственные слова, как останавливают отвёртку перед тем, как перетянуть шуруп. Рука поднялась, повисла и опустилась обратно на стол.

– На четвёртом этаже – квартира, дверь открыта. Семья: мать, отец, бабушка, двое детей. Все лежали – кто на полу, кто на диване. Ровно. Лина, они лежали ровно. Как по линейке. Как будто кто-то их уложил – аккуратно, бережно, головой на запад, руки вдоль тела. Никто их не укладывал – я проверил записи координатора. Они упали – и легли ровно. Все в одном направлении. И улыбались. Не все – но четверо из пяти. Бабушка не улыбалась. У неё было лицо человека, который задремал в кресле и видит сон, не плохой и не хороший, просто сон.

Он сглотнул. Лина заметила, как двинулся кадык – резко, один раз.

– И кроме них – мальчик. Лет семь, может, восемь. Сидел на кухне. На табуретке, ноги не доставали до пола. Перед ним – тарелка с кашей, ложка. Он ел. Не плакал. Не звал. Просто сидел и ел кашу. Методично – зачёрпывал, подносил ко рту, жевал, глотал, зачёрпывал снова. Как автомат. Я вошёл и остановился, потому что не ожидал увидеть кого-то, кто... Кто функционировал. Все остальные – лежали. А он – ел кашу.

Виктор посмотрел на Лину. Впервые за весь рассказ – прямо, не мимо, не в сторону.

– Я подошёл. Присел на корточки, чтобы быть с ним на одном уровне. Спросил: ты в порядке? Он посмотрел на меня и сказал: «Они ушли». Спокойно. Как о факте. Я сказал: «Куда?» – дурацкий вопрос, но что ещё скажешь семилетнему. Он пожал плечами. «Не знаю. Я не могу». Я спросил: «Не можешь – что?» Он посмотрел на меня – долго, секунд пять, может, шесть. И сказал: «Я сломанный».

Тишина в лаборатории. Гул приборов. За окном – далёкий стрёкот дрона.

– Мне тогда было двадцать два, – сказал Виктор. – Я не знал, что такое TUBA4A. Не знал, что такое когеренция. Не знал, что «сломанный» – это не метафора, а диагноз. Я просто сидел на корточках в чужой кухне, рядом с мальчиком, который ел кашу, пока его семья лежала в комнате и улыбалась потолку. И я чувствовал... Нет. Не чувствовал. Не слышал. Ничего. Я был в эпицентре того, что положило четыре с половиной тысячи человек, и ничего не почувствовал. Как будто стоишь посреди концерта и не слышишь музыки. Все вокруг – слышат. Падают от неё. А ты – нет.

Он помолчал. Потом добавил – тихо, почти для себя:

– Тогда я ещё не знал, что я – тоже. Сломанный. Что мы с этим мальчиком – одного сорта. Камертоны, негодные для оркестра.

Лина сидела неподвижно. Она могла бы сказать многое – про мутацию, про то, что «сломанный» – неточное слово, про то, что его иммунитет спасал жизни каждый день, – но всё это было бы ответом на вопрос, который Виктор не задавал. Он не жаловался и не искал утешения. Он рассказывал. Впервые за восемь лет.

– Что стало с мальчиком? – спросила она.

Виктор пожал плечами. Движение – медленное, тяжёлое, как будто плечи несли больше, чем видно.

– Не знаю. Координатор забрал данные, идентифицировал: Арман Сулейменов, семь лет, из семьи Сулейменовых – мать, отец, бабушка, сестра, брат. Все пятеро – в аномалии. Арман – нет. Его передали временной опеке. Дальше – не отследил.

Он не добавил: «Не пытался». И не добавил: «Пытался, но не нашёл». Он сказал «не отследил» – нейтрально, без окраски, – и Лина поняла, что за этим словом стоит одно из двух, и оба варианта – болезненны, и спрашивать о том, какой именно, – не её дело.

– Тебя обследовали после? – спросила она.

– Шесть раз.

– Шесть?

– Три – в рамках стандартного протокола. Четвёртое – по запросу генетического отдела, когда обнаружили мутацию. Пятое и шестое – повторные, потому что не верили результатам. Мутация TUBA4A. Микротрубочки – на герц ниже стандарта. Узлы не формируются. Мозг структурно нормален, функционально – выключен из оркестра. Они объяснили это медленно, как объясняют диагноз: «Вы невосприимчивы к когерентному воздействию, лейтенант. Это означает, что вы защищены от аномалии.» Сказали – повезло.

Пауза. Виктор взял стакан с чаем, на этот раз – поднёс ко рту, сделал глоток. Поморщился – остывший мятный чай имел привкус лекарства.

– Я подумал: мальчику – тоже.

Он не уточнил, в каком смысле «повезло». Лина не спросила. Потому что смыслов было два – противоположных, взаимоисключающих, – и оба были правдой, и выбрать один означало потерять второй, а потерять – значило солгать.

Позже, когда Виктор ушёл – молча, кивнув, забрав стакан и вымыв его в раковине лабораторного блока, потому что Виктор всегда мыл за собой посуду, немедленно, без напоминаний, с основательностью человека, для которого порядок – единственная форма контроля над миром, – Лина вернулась к архиву.

Третья серая папка: «Аналитическая записка. Механизм инцидента. Для служебного пользования.»

Автор – имя вычеркнуто, заменено кодом: Ψ-7. Дата: июль 2139 года, четыре месяца после инцидента. Лина читала, и текст выстраивался перед ней, как архитектурный чертёж катастрофы – линия за линией, слой за слоем.

Эхо-камера «Долинская-7» содержала кристаллические формации общей массой около четырёхсот тонн. Структура кристаллов – аналогичная тем, что обнаружены позднее в Карпатах, на Суматре, в Марианской впадине, на дне озера Байкал: минеральные образования, в которых атомная решётка организована не химическими, а топологическими связями. Квантовая когеренция, устойчивая при макроскопических масштабах. Реликт – ровесник Земли, сформировавшийся в эпоху, когда планета остывала и её вещество ещё помнило состояние, в котором всё было связано.

Направленный взрыв разрушил кристаллы. Физически – успешно: камера обрушилась, формации раздроблены. Но разрушение кристаллов не уничтожило когеренцию. Оно высвободило её. Четыреста тонн материи, хранившей в себе четыре миллиарда лет когерентных связей, одновременно выплеснули накопленный резонанс – волной, которая распространялась не через воздух и не через землю, а через тот слой реальности, который пока не имел общепринятого названия и который Ψ-7 называл «субстратом связи». Волна не передавала информацию. Она создавала общее состояние – как камертон, ударивший по струне, не передаёт звук, а заставляет струну вибрировать с собственной частотой. Каждый мозг в радиусе двухсот километров, способный к формированию когерентных узлов, – резонировал. Одновременно. Необратимо.

«Аналогия, – писал Ψ-7, – Представьте плотину, за которой – озеро. Плотина – стенки кристалла, озеро – когеренция. Взорвать плотину – значит спустить озеро в долину. Всё, что внизу, – затоплено. Масштаб разрушения пропорционален объёму воды. В случае „Долинской-7“ объём был эквивалентен четырёмстам тоннам кристаллизованной когеренции, а „долиной“ – всё живое в радиусе поражения.»

Далее: «Попытки повторного экранирования после инцидента показали, что осколки кристаллов сохраняют когерентные свойства вплоть до размера 0,3 мм. Полная дезактивация – невозможна: потребовалось бы собрать и изолировать каждый фрагмент. Зона инцидента

остаётся частично активной. Рекомендация: экранирование периметра зоны, запрет на доступ, классификация – „зона постоянного отчуждения".»

Далее – абзац, подчёркнутый красным, с пометкой на полях: «Критически важно»:

«Инцидент однозначно демонстрирует: разрушение эхо-камер – НЕ является методом борьбы с аномалией. Разрушение высвобождает то, что камеры удерживают. Единственный допустимый подход – экранирование. Либо – принципиально иной метод нейтрализации, основанный не на разрушении когеренции, а на её контролируемой фиксации.»

Лина перечитала последнее предложение. «Контролируемая фиксация.» Июль 2139 года. За три года до того, как Ирен Мбеки предложит проект «Тишина». Кто-то уже тогда – кто-то за кодом Ф-7, за вычеркнутым именем, за грифом «для служебного пользования» – уже тогда понимал, что нужен другой путь. Не ломать – замораживать. Не взрывать плотину – превратить озеро в лёд.

Но лёд – не безопасен. Лина теперь это знала. Ирен Мбеки оценивала вероятность калибровочной ошибки в 4,7 процента. При неточной калибровке вместо заморозки – растрескивание. Частичное высвобождение. Не Караганда – масштаб другой, глобальный, потому что «Тишина» – не портативный прибор, а орбитальная платформа, покрывающая всю планету. Растрескивание глобального импульса означало бы десятки, может, сотни маленьких Караганд. Одновременно. Повсюду.

Караганда – это то, что происходит, когда когеренцию рвут. Лина повторила это про себя – медленно, чтобы каждое слово встало на место, как позвонок в хребте.

«Тишина» должна была её остановить, не порвав. Заморозить, не разбив. Тонкая грань – между льдом и трещиной, между спасением и катастрофой, – и Ирен Мбеки стояла на этой грани, и смотрела на уравнения, и уравнения говорили: 95,3 процента.

Лина думала о процентах. Она привыкла к ним – нейрофизиология, статистика, вероятности. 95,3 процента – в науке это отлично. В медицине – приемлемо. На восемь миллиардов – это 376 миллионов, которые попадут в зазор между заморозкой и трещиной, если что-то пойдёт не так. Если калибровка сдвинется. Если уравнения солгут.

376 миллионов. Почти сто Караганд, помноженных на тысячу.

Она закрыла папку. Встала. Прошлась по архивной комнате – три шага в одну сторону, три в другую, потолок давил, лампы гудели. Достала из сумки блокнот, тот самый, с координатами звёздной системы Евы, и на чистой странице написала два слова, одно под другим:

Караганда – разрыв. «Тишина» – заморозка.

Между ними – черта. Тонкая, проведённая карандашом. По одну сторону – четыре тысячи шестьсот двенадцать человек, которые улыбались потолку в квартирах степного города. По другую – восемь миллиардов, которые засыпали по одному, по двое, по сорок два – медленно, необратимо, и экспонента не спрашивала разрешения.

Черта между ними была разницей между взрывом и льдом. Между наводнением и замерзанием. Между тем, чтобы разнести плотину, и тем, чтобы заморозить озеро.

Ирен Мбеки клялась, что грань выдержит. 95,3 процента. Ваал считал это приемлемым. Ирен – Лина вспомнила фразу из последнего отчёта, который не должен был попасть в архив, но попал – Ирен сказала: «Я вижу уравнения. Уравнения говорят: успех. Но уравнения не говорят, кто окажется в тех 4,7 процентах.»

Мальчик в Караганде. Семь лет. Сидит на кухне. Ест кашу. Семья – в соседней комнате, ровно, как по линейке, улыбаясь чему-то, чего он не видит и никогда не увидит. Он – сломанный. Камертон на 439 герц. Негодный для оркестра.

Спасённый.

Или – проклятый. Зависит от того, что считать оркестром.

Лина убрала блокнот. Поднялась по двадцати четырём ступеням. Вышла в коридор, где свет был теплее, а потолки – выше, и шаги отдавались эхом по полированному камню, и мир снова притворялся управляемым.

В лаборатории было пусто. Виктор ушёл. На его столе – собранный калибровочный модуль, аккуратно уложенный в защитный кейс, застёгнутый на все четыре замка. Рядом – чистый стакан, перевёрнутый на салфетке. Порядок. Контроль. Единственное, что Виктор мог контролировать, – и контролировал, молча, методично, каждый день.

Лина подошла к стене с их схемой – узлы, нити, красная линия Ибрагима, зелёное слово «Приглашение» над ней. Взяла маркер – чёрный, не использованный ранее – и дописала внизу, мелко, под самой красной линией:

Караганда: 4 612.

Число. Без комментариев, без вопросительных знаков, без восклицательных. Число, которое стояло между разрывом и заморозкой, между прошлым и будущим, между мальчиком, который ел кашу, и миром, который не знал – не хотел знать, – что плотина уже дала трещину.

Она положила маркер и села за терминал. На экране – данные: 217 400 спящих, экспоненциальная кривая, модель Ибрагима, которая уходила вверх и вправо, в территорию, где числа переставали быть абстракцией и становились именами, адресами, остывшими завтраками.

За окном – ночь. Женева-Высокая. Фонари. Дроны. Тишина – обычная, городская, человеческая. Тишина, в которой люди спят, потому что устали, а не потому что не могут вернуться.

Пока – человеческая.



Глава 8. Иммунный

Лина не могла уснуть.

Это было привычно – бессонница стала спутницей задолго до «Периметра», задолго до Алекса, ещё с аспирантуры, когда мозг, перегруженный данными, отказывался замолкать и продолжал работать в темноте, перебирая гипотезы, как чётки. Но сегодняшняя бессонница была другого сорта. Не рабочая, не тревожная. Тяжёлая. Караганда лежала на рёбрах, как плита, и число 4612 пульсировало за закрытыми веками – не зрительно, а ритмически, как второй пульс, чужой, навязанный.

Она лежала в темноте, слушала собственное дыхание, и думала о семье за столом – каша, чай, тосты, четверо из пяти улыбаются потолку, – и о мальчике, который ел кашу, потому что не знал, что ещё делать, когда мир заканчивается, а ты остаёшься, и кашу не доел, и никто не сказал «доешь».

В час ночи она встала, оделась и пошла в лабораторию. Не работать – быть где-то, где свет включается по команде и где есть приборы, которые измеряют вещи, которые можно измерить.

Виктор был там.

Он сидел за своим столом – не работал, не собирал, не калибровал. Просто сидел, откинувшись на спинку стула, и смотрел в окно, за которым Женева-Высокая мерцала созвездиями – рукотворными, электрическими, предсказуемыми. Перед ним – планшет, экран погашен, и стакан с чаем, полный, нетронутый, остывший. По тому, какой плёнкой покрылась поверхность, Лина определила: чай стоял не меньше часа. Виктор заварил его и забыл выпить. Или заварил и не собирался – по привычке, потому что руки знали последовательность: чайник, пакетик, вода, стакан, – и выполнили её без участия головы.

– Тоже не спится, – сказала Лина. Не вопрос – констатация.

– Я редко сплю в лаборатории, – ответил Виктор. – Но редко не сплю дома. Сегодня – не получилось ни то, ни другое. Пришёл сюда. Здесь, по крайней мере, есть чайник.

Лина села в своё кресло – через три стола от него, привычная дистанция, но сегодня ночью лаборатория казалась меньше, интимнее, как любое помещение, в котором два человека не спят в час, предназначенный для сна. Она посмотрела на Виктора – в лабораторном свете его лицо выглядело старше: тени под глазами, складки у рта, которые днём скрывала подвижность мимики, – а ночью, когда лицо отдыхало, проступали, как надписи на палимпсесте.

– Из-за Караганды? – спросила она.

Он повернул голову – медленно, не рывком, как человек, который привык экономить движения.

– Нет. Караганда была давно. К ней привыкаешь. Не к тому, что там произошло, – к тому, что помнишь. Это разные вещи. – Он взял стакан, посмотрел на чай с выражением лёгкого удивления, как будто обнаружил его впервые, и поставил обратно. – Я не сплю из-за другого. Пришло третье письмо.

– От кого?

Виктор потянулся к планшету, включил экран. Развернул его к Лине. На экране – официальный бланк «Периметра», логотип в верхнем углу, шрифт – стандартный, тон – вежливый до стерильности:

«Уважаемый В.Д. Орлов. Научный отдел Консорциума „Периметр“ повторно обращается к вам с запросом на проведение биопсии мозговой ткани (процедура МТБ-7, неинвазивная, эндоскопическая, длительность – 40 минут, период восстановления – 48 часов). Образец необходим для углублённого анализа колебательных характеристик тубулиновых микроструктур, критически важного для понимания механизма иммунитета к когерентному воздействию. Процедура одобрена этическим комитетом (протокол ЭК-2147-034). Минимальный

риск. Ваше участие – добровольное, но настоятельно рекомендованное. С уважением, доктор Ирен Мбеки, руководитель проекта „Тишина“.»

Лина прочитала дважды. «Добровольное, но настоятельно рекомендованное» – формулировка, которая сама себя опровергала.

– Третье за год, – сказал Виктор. – Первое пришло в январе. Я отклонил. Стандартная форма отказа, подпись, дата. Второе – в мае. Формулировка другая: «критически важно для безопасности человечества». Отклонил. После второго Ваал позвонил лично.

– Что сказал?

– «Подумай о человечестве, Виктор. Твой мозг – может быть, единственный ключ к пониманию того, как когеренция формирует узлы. Если мы поймём, почему у тебя не формируются – мы поймём, как остановить их у всех. Это может спасти миллионы.» Примерно так. Может, другими словами. Суть – та.

– И что ты ответил?

Виктор чуть наклонил голову – тот же жест, что днём, когда решал, переступить ли порог.

– Что моя голова – не для человечества. Моя голова – для меня.

Он сказал это без вызова, без позы – сухо, как зачитывают пункт контракта. Но под сухостью Лина услышала что-то ещё, низкий тон, который не вписывался в его обычный регистр – упрямство, замешанное на страхе, как цемент на воде.

– И теперь – третье, – сказала она.

– Третье. От Мбеки лично. Не от канцелярии – от неё. Она, видимо, решила, что личное обращение подействует лучше. – Он кивнул на экран. – «Критически важно.» «Минимальный риск.» Мне сорок лет, Лина. Я знаю, что значит «минимальный риск» в устах людей, которым нужен результат.

– Ты боишься процедуры?

Виктор не ответил сразу. Он смотрел на свои руки – большие, мозолистые, привыкшие к инструменту, привыкшие чинить и собирать. Руки, которые утром перебирали оптоволокно с хирургической точностью, а восемь лет назад перекладывали бессознательных стариков на кровати в квартирах степного города.

– Нет, – сказал он наконец. – Не процедуры.

Пауза. За окном – далёкий гул дрона-грузовоза, ночная доставка, рутина, фон.

– Я боюсь того, что найдут. Или не найдут.

Лина ждала. Виктор не из тех, кого подталкивают вопросами – он договаривал сам, в своём темпе, когда был готов.

– Понимаешь, – начал он, и его голос снова изменил регистр, как вчера, – они говорят: мутация TUBA4A. Один ген. Один белок. Альфа-тубулин, который колеблется не так, как нужно. Камертон на 439 герц вместо 440. Маленькая разница. Почти ничего. Но этого «почти ничего» хватает, чтобы я не слышал то, что слышат все. Не видел. Не чувствовал. Восемь миллиардов человек живут в мире, где существует... это. Связь, хор, оркестр – как ни назови. А я – за стеклом. Смотрю. Не слышу.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.